THE WEEKLY MAGAZINE

СЕНТЯБРЬ № 37 1991

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ

ОГОНЁК

ISSN 0131—0097

ЦЕНА СВОБОДЫ



ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
И ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ

ОГОНЁК

Выходит с 1 апреля 1923 года
УЧРЕДИТЕЛЬ — ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА «ОГОНЕК»

№ 37 (3347)
7 — 14 сентября

НА ПЕРВОЙ СТРАНИЦЕ ОБЛОЖКИ:
Фото Марка ШТЕЙНБОКА.

Оформление А. А. КОВАЛЕВА
при участии О. И. КОЗАК.

ПОДПИСКА НА «ОГОНЕК» ПРИНИМАЕТСЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ.
Цена подписки на год — 46 руб. 80 коп.,
на полгода — 23 руб. 40 коп.,
на квартал — 11 руб. 70 коп.
Цена одного номера в розницу — 1 рубль.

Сдано в набор 19.08.91. Подписано к печати 03.09.91. Формат $70\times108\frac{1}{8}$. Бумага для глубокой печати. Глубокая печать. Усл. печ. л. 7,00. Усл. кр.-отт. 17,50. Уч.-изд. л. 12,05. Тираж 1 790 000 экз. Заказ № 790. Цена 1 рубль.

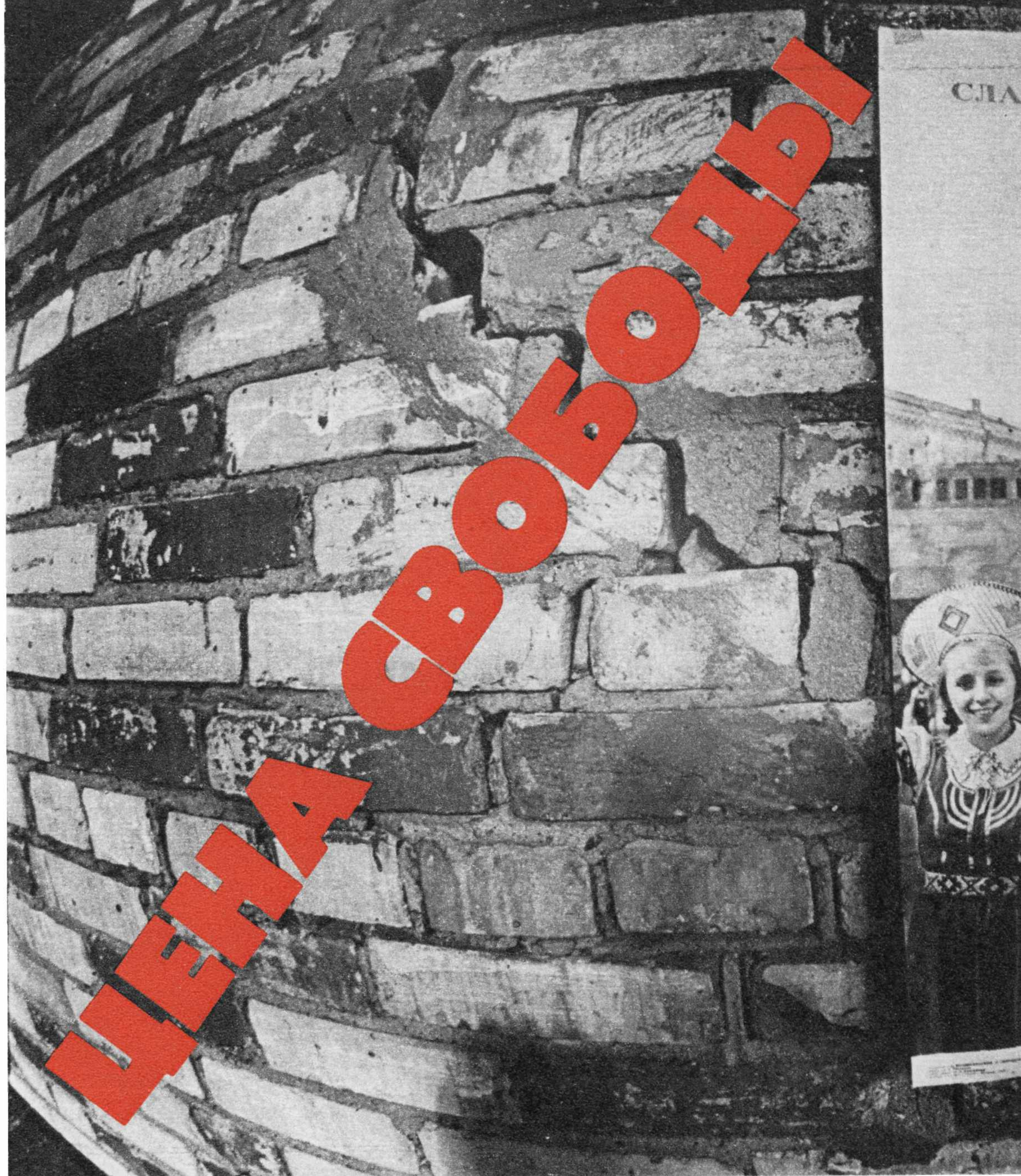
Адрес редакции: 101456, ГСП,
Москва, Бумажный проезд, 14.

Телефоны редакции: Для справок: 212-22-69; Отделы: Публицистики — 250-46-90; Литературы — 212-63-69 и искусства — 212-22-19; Морали и писем — 212-22-69; Фото — 212-20-19; Справки по рекламе — 212-12-00.

Телефакс (095) 943-00-70
Телетайп 112349 «Огонек»

Рукописи объемом более двух авторских листов не рассматриваются.

Типография издательства «Правда».
125865, ГСП, Москва, А-137, улица «Правды», 24.











Анатолий ГОЛОВКОВ, обозреватель журнала «Огонек»

После трех дней и бессонных ночей, после великого, равного десятилетиям, прорыва к свету, после прощания с теми, кто его приблизил,— остановимся, прислушаемся к времени, попробуем рассмотреть, понять мир и себя. И тупую мощь сталинских небоскребов, с которых снайперы держали под прицелом окна российского парламента. И асфальт родных московских улиц, изуродованных танками. И лица обманутых стариков. И отряды молодежи, толпящейся на площади Свободной России, будто мятеж не подавлен и штурм впереди. Детям нашим не хочется все еще расставаться с баррикадами, отделившими свет от тени, храбрость от трусости, честь от бесчестия, доблесть от подлости. Присядем и мы перед дорожкой: впереди нелегкий путь.

В политической сутолоке минувшего лета, под флагом ново-огаревских надежд и сопротивления тоталитарных структур растаял голос одиночек, призывавших к бдительности. Еще до Тбилиси и Баку режим научился стрелять в нас. Плата за беспечность оказалась велика, а могла быть — непомерна. И в январе 1991-го, после террора в Вильнюсе и Риге, и весной, когда началась война в Закавказье, а бывший генсек открыто встал на сторону реакции и клеймил «так называемых демократов». И перед самым августовским переворотом, убаюканные формулой «9 плюс 1», многие не хотели видеть опасности. Ни выходки омоновского бандформирования имени беспощадного большевика Рубикса в Риге, ни подлое убийство таможенников на литовско-белорусской границе, ни даже такой откровенный призыв к путчу, как «Слово к народу», почти никого не навели на мысль, что до исполнения обещанного остались считанные дни...

Это теперь, в сентябре, никто не решается открыто оспаривать факт, что страна не могла ни на шаг продвинуться вперед без демонтажа КПСС как структуры власти. Это теперь будто бы считается бесспорной истина, что никакое реформирование экономики невозможно в союзе с плутократами Старой площади, при политическом сыске Лубянки, под аккомпанемент зубовного скрежета армейской верхушки. Но именно это, разумеется, притворное, искусственное «единодушие» после ареста заговорщиков и настораживает более всего.

Мы, воодушевленные победой, получили наконец свободу слова взамен разрешенной коммунистами гласности. И говорим, что думаем. Они же, лишенные своих газет, своего телевидения, радио, вынуждены перезваниваться, перестукиваться, перемигиваться в кулуарах, в туалетах во время перекуров... Они еще не вполне пришли в себя после разгрома. Надолго ли?

Впрочем, игрища начались. Опечатан партийный дом на Старой площади? Смотря для кого! Если пустят в пятый подъезд — зайдите. Там, на четвертом этаже, снова с комфортом расположился секретарь ЦК Лучинский, которому поручили создать комитет из бывших партаппаратчиков с длинным названием — «по инвентаризации и передаче собственности и имущества КПСС». Мило, не так ли? Газета «Правда», изгнав с первой полосы лозунг насчет пролетариев и дав слово Елене Боннэр, уже всплакнула по бывшему Управлению делами ЦК КПСС и его рыцарям, стоящим на страже большевистского барахла. Началось давление на тех, кто защищал «Белый дом». И вот уже полковника Кондрашова, сотрудника ГРУ Министерства обороны СССР, который вместе с руководителем «Щита» Уражцевым останавливал наступление танковой колонны, за статью в «Огоньке» и другие выступления в печати норовят понизить в должности...

Очарованное революцией, общество будто бы не желает считаться с серьезными силами, которые совсем не намерены сложить оружие. В неразберихе, победном гвалте, в обстановке безвластия им было бы просто глупо не попытаться взять реванш.

Вот в какой обстановке открылся внеочередной съезд народных депутатов.

Жесткий сценарий Михаила Горбачева, похоже, оправдал себя. Неплохо придумано: не дав начаться наступлению номенклатуры, он мгновенно навязал съезду свой план. Президент в который уже раз поразил нас, и мы воочию могли наблюдать его в еще одной неожиданной ипостаси. Трудно сказать, суждено ли этому плану состояться. Слишком сильна центробежная тенденция отделения республик. Но в любом случае и народным депутатам, которые в качестве не вполне заслуженного подарка получили продление депутатских полномочий, и миллионам телезрителей, которые снова впились глазами в телеэкраны,— всем стало ясно: рождается новое государство. Субъекты конфедерации войдут в него добровольно. Прибалтийским республикам, в том числе и моей родной Латвии, съезд будет теперь вынужден гарантировать независимость и невмешательство во внутренние дела. И на этом многообещающем фоне Президента словно бы перестало интересовать, что в новом Союзе неизбежно ослабеет власть центра. Что Конституция СССР превращается в макулатуру. Что любое отклонение его от выбранного политического курса не повлечет за собой ничего, кроме отставки.

Правые уже никогда не простят ему ликвидации КПСС как государственной структуры, роспуска Кабинета министров, дезавуирования армейского генералитета и КГБ. Руководство республик уже не пожелает возвращаться к временам, когда Кремль осуществлял диктат по любым вопросам. Демократические лидеры, которые после свержения диктатуры опираются на широчайшие слои населения, уже вряд ли откажутся от контроля над проведением по-настоящему радикальных реформ.

Разумеется, такой поворот событий не всех устраивает. По раскрасневшимся потным лицам тех, кто хамил и захлопывал Андрея Сахарова и кто уже не в состоянии выказать былую спесь, по их язвительным высказываниям в кулуарах можно догадаться, что многие явились в Кремлевский Дворец с фигой в кармане. Роспуск КПСС еще вовсе не означает, что бывшие партаппаратчики, прижатые к стенке демократической революцией, согласятся молча сносить тяготы судьбы. Прошло слишком мало времени, чтобы организовать сопротивление, но достаточно, чтобы коллаборационисты начали рассуждать о «загадочности» переворота, о его «алогичности», о «роли Президента» в событиях 19—21 августа. Ускорение следствия по делу «восьмерки», которой уже предъявлено обвинение, может лишь подлить масла в огонь. Если вспомнить опыт Андропова, то никто не может гарантировать, что и Крючков не располагает досье на ведущих государственных деятелей страны, включая и Горбачева...

Так можем ли мы успокоиться? Наверное, нет. Лишь перевести дух. И задуматься, какой ценою достигнута все еще зыбкая наша свобода. Вспомнить, что с первого дня октябрьского большевистского переворота началось сопротивление коммунистическому режиму. Эта свобода бесценна, потому что от первых жертв красного террора до трех скромных могил на Ваганьковском кладбище пролегла целая эпоха. То были годы великих страданий и высокого подвига человеческого духа. Они оплачены большевистским геноцидом против собственного народа, гибелью миллионов, процессами против инакомыслящих, исковерканными судьбами тех, кого коммунисты превращали в стукачей или узников спецпсихбольниц... Изуродованным сознанием тех, кто был всегда послушен воле Политбюро, идя против совести... Иезуитской игрой в демократию, когда партаппарат боролся с непокорными республиками, разжигая межнациональную рознь уже во время перестройки, и шельмовал все — от депутатских выборов до сессий и съездов,— и ложь порождала ложь.

В тяжелые августовские дни мы взялись за руки и победили. Лишь бы только теперь не разомкнуть рук.

Фото В. МАШАТИНА и М. ШТЕЙНБОКА

Елена БОННЭР

Ночь. От начала переворота прошло около суток. Ошеломленность прошла. На смену пришла надежда, что великая страна Россия, нищая спящая красавица, наконец-то проснется. И начнется ее реальное движение к нормальной истории, навстречу современному миру.

ХРОНИКА ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ

(ИЗ ДОМА АНДРЕЯ САХАРОВА НА УЛИЦЕ ЧКАЛОВА)

Итак, кто совершил переворот (дело не в фамилиях — вы их уже знаете)? Персонально — это все выкормыши (простите мне мой язык), выблядки КГБ: военно - промышленный комплекс, структуры, которые кормят его и которых он кормит — генералитет и примыкающий к ним (а точней, командующий им) Комитет государственной безопасности с верным младшим братом — МВД. С чего они начали? Как всегда, с обмана: Президент болен, и вице-президент спешит его заменить. На пресс-конференции алкаш с трясущимися руками лжет, не краснея, под смех присутствующих в зале. Говорит, что много работавший в последние годы Президент нуждается в отдыхе и лечении. В приснопамятном 1937 году именно так говорили об арестованных — «отдыхает». Обман — заявление Государственного Комитета по Чрезвычайному Положению (сокращено ГКЧП — это надо придумать такую «благозвучную» аббревиатуру), они-де будут бороться с «разгулом пропаганды секса и насилия», а первейшей их заботой станет «неуклонный рост благосостояния трудящихся». Лозунг, под которым мы всей страной неуклонно двигались к относительному, а потом и абсолютному обнищанию. Что делать, когда слышишь такое? Плакать или смеяться? Но в любом случае понимать, что твое правительство держит тебя за круглого идиота. А раз ты идиот, то тебе приготовлено все по твоему разумению: все партии, кроме их собственной, запретить. Митинги, демонстрации, забастовки — тоже. Программа TV — одна — тоже их собственная. Все радиостанции прикрыть. Газеты оставить только принадлежащие им, да еще армейскую «Красную звезду». Как говорят на Руси, «лиха беда — начало».

Между 12 и часом дня Таня (дочка) и несколько друзей, вместе с Самодуровым и Гольдиным — наш Сахаровский комитет — поехали к «Белому дому». И тогда густо, один за другим начались международные звонки. Первым был Лос-Анджелес, по радиотелефону говорили треугольником: корреспондент в Калифорнии, Алешка (сын) за переводчика в Бостоне, я — в Москве. Более примитивных интервью, чем в первый день путча, я не давала никогда в жизни. Установка на победу! И далее все лозунгами, почти сплошь калька с «Враг не пройдет, Победа будет за нами!». И какими только словами я их не крыла! Испуганная переводчица из Рима упавшим голосом спросила: «Елена Георгиевна, и это переводить?» Я прямо рявкнула на нее: «Конечно!» Телефон не умолкает, не успеваешь трубку положить — интервью, интервью, интервью. Всю ночь. И так же будет в последующие сутки. Япония, Франция, несколько раз Чехословакия, Венгрия, Румыния, Австралия, Дания, Италия, США, Швеция. Многие по нескольку раз. Упорно кричала на Запад: «Не спешите их признавать. Путч-мятеж не может быть удачен!» Каждый раз удивление и встречный вопрос: «Почему вы так уверены и сколько он продлится?» «Какая разница — три дня или три месяца, но он провалится, и все тут». Между делом — моим — прибежал Герка (муж главной школьной подружки моей дочери). Варим крепкий кофе, собираем по дому куртки, кроссовки, брюки — днем-то все убежали по-летнему. По телеку то их хунтовые постановления, то музыкальная классика. (Воспитание — сколько плакались о культуре, и что к серьезной музыке аудиторию, особенно молодежь, надо приучать. Приучат! Возненавидим, как их! Закон надо, что ли, что музыка не проститутка, что она часть нас, нашей души.) Наконец их пресс-конференция — я о ней уже писала. Эти сплошные задницы вместо лиц. Так бы и всадила шприц с тупой, кривой иглой с размаху. По радио — Запад сдержан, неопределенен (позже каждое слово проанализируют специалисты) и почти готов признать этих подонков. У Буша не хватает информации — вспомнился милый Мэтлок, который перед отъездом, на телевстрече сказал, что положение Горбачева в последнее время очень упрочилось! А Миттеран (8 часов вечера — время европейское) на пресс-конференции фактически их признает и говорит что-то про международные договоренности и права человека.



Фото Льва ШЕРСТЕННИКОВА

Кончается день 19 августа. 20-го они будут говорить по-другому. И тут, когда на весь мир кричишь «Не признавайте!», интервью Козырева (министра иностранных дел РСФСР), который, «находясь в данный момент во Франции», не исключает возможности формирования правительства в изгнании. Вот уж Господь Бог лишил разума! На другой день ему подпоет Старовойтова из Лондона, изъявив в случае необходимости свою готовность войти в него. Слова, слова, погоня за сенсацией, торопливость, неверие!

Вечером, как только все молодые друзья ушли к «Белому дому», стала подряд по телефонной книжке звонить по телефону: все к «Белому дому», к «Белому дому»! И чтоб они другим звонили с тем же. И вопросы себе, эти вечные вопросы лейтенанта-десятиклассника: «Имею ли право?» «А тогда, в 41-м, когда санитаров-носильщиков посылала, имела?» И как быть с Андрюшиным: «Никто никому ничего не должен!» Звонит Жаворонков из «Московских новостей» — срочно надо листовку-обращение к солдатам. Пишу черновик. Диктую по телефону. Потом сказал, что пошла хорошо. Звонит Ленинград. Там подлог. Яров и Щербаков вовсе не входили в тамошний путчистский комитет. За десять минут до полуночи прозвонилась на «Свободу». Они успели передать в эфир. Вообще-то за исключением небольших ляпсусов «Свобода» работала прекрасно и вместе с москвичами может входить в число тех, кто спас Россию. Один словесный ляп запомнила. Диктор, говоря о воинской части, которая шла к «Белому дому», а потом неожиданно повернула назад, сказал: «В нарушение приказа командования». Я прямо взвилась. Он должен был сказать: «Во исполнение приказа Президента РСФСР». Неужели не ясно? Вся ночь — то мне звонят, то я звоню. Как перевалочный пункт связи. Спроси: что, кому я передавала? — не помню. Было тревожно, но ребята регулярно звонили то мне, то чьей-то маме, то на 6-й этаж соседке Насте. На несколько минут после очередного звонка тревога отступала.

Двадцатого августа в 12 часов митинг. Пока я с Костей Смирновым туда дошкандыбала (машину из «Огонька» пришлось оставить у баррикад), начался приступ стенокардии. А мою машину к вечеру «мобилизовали» противогазы возить. От слова «противогаз» в животе похолодело. Четыре года войны о противогазе не помнила, в сумке носила все что придется. А теперь Таня с Леней противогазы возят. Прогресс!

С балкона «Белого дома» — море людей, ни одного знакомого лица, и все — свои! Меня встретили долгими аплодисментами. Не меня — память об Андрее. Я редко волнуюсь выступая. А в этот раз волновалась почти до слез. Как при чтении его Нобелевской лекции, когда перечисляла имена узников совести. И радовалась: ни одного агрессивного лозунга, никаких «расстрелять, как бешеных псов». И молодые. Наконец-то их проняло, что это и их касается — демократия, свобода, человеческое достоинство. А то ведь говорили: «А ну ее, эту вашу болтовню. У нас, молодых, своя жизнь». Оказалось, общая! К вечеру пошли новости одна другой загадочней. Павлов заболел. Вместо него какой-то зам. Язов ушел в отставку, вроде тоже нездоров. Командует «парадом» Моисеев. Никто не знает, где Крючков. Может, в бункере, как когда-то фюрер? Похоже, что-то у них там «смешалось», в их «доме Облонских». Как у ýрок, когда пахан слаб, кассу еще не сняли, а банда уже грызется. Дай-то Бог! Примечательно, что накануне именно эти трое отсутствовали на их пресс-конференции. А под конец дня заявление Лукьянова, сделанное группе народных депутатов, что путч организован Горбачевым. То ли «отмывается», то ли... И сразу в памяти всплывает странная фраза Шеварднадзе, сказанная им днем на митинге, что если Горбачев причастен к заговору, то он предатель.

В русском языке, особенно в устной речи, сослагательное наклонение (или как оно называется?) — все эти «если», «кабы», «может быть» — звучит столь неопределенно, что иногда не сразу обратишь внимание. Что Горбачев по характеру предатель, от этого ни нам — его «подданным»,— ни ему никуда не деться. Такая данность! Предательством тех, кто на разных этапах его блестящей политической карьеры был рядом с ним, отличается отрезок его жизненного пути, который проходил на глазах всего мира. И вряд ли Горбачев был другим в детстве, подростком, молодым комсомольским, а потом преуспевающим партийным деятелем. Но чтобы настолько? Тогда он действительно человек столетия!

Я всегда резко писала и говорила о Горбачеве, его действиях, которые мне казались ошибочными, или о трагическом бездействии, иногда просто опасном. Это — мое право гражданина и избирателя. И свободного человека. Сегодня я его защищала. Он мой законно избранный Президент (хоть мне и не нравится, когда Президента выбирает не народ). Однако никакая хунта (Господи, вся им самим подобранная — как на подбор его личные ставленники!) не вправе его судить, арестовывать, смещать!

Ну вот и полночь. Дай Бог нам пережить эту ночь. Нам — России. Нам — Москве, потому что всегда судьба путчей и революций решается в столицах. И, главное, нам — всем тем людям, что собрались вокруг «Белого дома» — Российского парламента, готовые голыми руками и своими открытыми сердцами защищать Россию — свое будущее.

То, что я сейчас пишу, ну разве это статья для солидной газеты? Да еще западной. Совсем забыла — я начала писать по просьбе одной датской и одной японской газет, утром 20 августа. Позже попросили итальянцы. Сказала, что будет одна на всех. И писала, одной рукой держа трубку телефона у уха, давая очередное интервью, другой — стуча по клавиатуре.

Начать статью? Разобрать все возможные варианты?

Первый. Путч захлебнется. Горбачев в нем не замешан. Тогда мы спросим с Горбачева за все его ошибки, потому что именно они привели к тому, что происходит сегодня. А потом будут созданы по-настоящему новые межгосударственные отношения по-настоящему суверенных государств. Мы вступим на путь настоящих реформ. И, возможно, выберем всенародно Горбачева Президентом Свободного Евроазиатского Со-

дружества. Красиво? Хэппи-энд!

Второй вариант. Эти подонки, новая хунта, сегодня штурмом возьмут «Белый дом». И Горбачев, задумавший эту игру, им станет не нужен. Они его убьют. На совести нашей страны будет такое же пятно, как у Румынии. Нет, не такое, потому что наша история — одно сплошное кровавое пятно и новых ставить уже некуда. Да и Горбачев — не Чаушеску. Он сделал одно неоспоримое благо. Страна тотального страха при нем стала страной хоть и не тотального, но бесстрашия. И если б он не был трусливым непоследовательным политиком, то смог бы повернуть ее и на путь реальных изменений. Из варианта, что победит хунта, легко (что сейчас и делают все западные комментаторы) рассуждать о будущем. Кто-то говорит, что хунта будет править недолго — год, другой, она не сможет накормить и одеть страну. Голодные бунты, забастовки и национальные противоречия повернут ее снова в сторону реформ. Другие утверждают, что будет польский вариант — лет на восемь — десять. Третьи: их не волнует наше будущее, у нас внутреннее дело; они надеются, что хунта будет выполнять все свои международные обязательства. А они? Они будут ее кормить. Конечно, не сразу. Предварительно погоревав о Горбачеве. И действительно, что делать Западу? Не воевать же с великой ядерной державой, которая не может прокормить свой народ. Кормить с ложечки! Что-то перепадет народу. И закрывать глаза на то, что основное пойдет военно-промышленному комплексу. Каждый специалист, выбрав по собственному желанию любой из этих вариантов, пишет обстоятельную статью, подкрепляя ее многими и вполне серьезными аргументами исторического, политического, экономического, этнографического и даже этического характера. У них не болит. Им интересно. Был интересен Ирак, потом — курды. Еще вчера — Югославия. Теперь — мы.

И я, между прочим, вполне могла бы написать солидную статью по любому из этих вариантов. Так сказать, не зря бы ела свой хлеб. Не хочу. Я продолжаю кричать — «три дня», а про себя думаю: «Сумеем ли мы поднять страну на трехмесячную забастовку?» И вспоминаю, как приняли сахаровскую идею, а потом призыв к политической двухчасовой (всего-то) забастовке в декабре 1989 года наши депутаты-демократы, межрегиональщики и депутаты-академики, еще 14 декабря — в день смерти — добивавшие Андрея. Вспоминаю тот декабрь, а думаю о генезисе этого августа. Как в детективе — кому выгодно? Получается странная картина. Чрезвычайное положение явно было нужно Горбачеву, и оно нужно Лукьянову. Первому — потому, что он не мог не знать, что возникает оппозиция Договору 9+1 и, следовательно, следующим за Договором в промежутке до шести месяцев выборам Президента. Горбачев боится противодействия договору, а еще больше — выборов. Ему важно, чтобы не было митингов, демонстраций, забастовок. Ввести чрезвычайку на шесть месяцев — лучший способ действия для него.

Лукьянову выгодно, чтобы в любом варианте сохранился +1 — Центр со всеми атрибутами и Верховным Советом,— уж с ним он как-нибудь справится, наловчился. На каком этапе Горбачев оказался лишним? Когда-нибудь узнаем. Не при нас, если они победят. Нет, не победят. Тогда скоро? Тоже сомнительно. В нашем государстве всегда найдется тьма историков, которые в любом варианте сумеют замазать истину. Так что снова будет с этой полянкой как всегда: «Думайте сами, решайте сами — иметь или не иметь».

Ну вот, и правильно делаю, что не пишу рассудительных статей, хотя это дело непыльное! Около часа ночи. Только что из «Белого дома» звонила Лида из Комитета по правам. К «Белому дому» подошли военные машины. Пока не близко. Стреляют вроде на другой стороне Москвы-реки, где-то между «Украиной» и Киевским вокзалом. Защитники подожгли два БТРа. Около них несколько погибших. Солдаты разбежались. Кому-то удалось остановить самосуд. Еще два человека раздавлены БТРом в другом месте. Случайными выстрелами убиты три или четыре человека. По числу жертв Москва догоняет Вильнюс. В час ночи ожидают десант на крышу «Белого дома». Два часа ночи. «Голос Америки» сообщил, что Горбачев к путчу отношения не имеет. Им откуда-то известно, но источник сведений не указали. Кто-то сообщил, что Силаев улетел в Свердловск формировать запасное правительство. Лида из «Белого дома» по телефону сказала, что депутатов собрали в зале. Руцкой сказал, что при атаке, которую ожидают в четыре утра, все, имеющие оружие, должны быть на первом этаже и отстреливаться до последнего патрона. Женщинам и аппарату предложил уйти домой, большая часть старого аппарата ушла. Сказал, что первыми жертвами будут те, кто стоит вокруг «Белого дома», и что депутаты (или кто там, руководство), приняв решение сопротивляться, должны это понимать. После его слов шесть депутатов пошли на баррикады. Ельцина, Хасбулатова, Лужкова, Попова, еще кого-то он поместил в бункер. Как я поняла, оборонять до последнего. В разговоре с Лидой спросила, есть ли в «Белом доме» возможность обратиться к солдатам, тогда имело бы смысл мне поехать туда. Она в ответ прямо чуть не заплакала, что ничего, ничего у них нет. Вот засранцы (это уже наши — Россия) не могли присоединиться к «матюгальникам», из которых по праздникам — «Страна моя, Москва моя, ты самая любимая». То ли Лида позже, то ли по радио сообщили, что в «Белый дом» приехали Шеварднадзе и только что прилетевший из Парижа Ростропович. Ах, Слава, Слава, живая душа — ему надо быть с родиной! (Вставка сделана через несколько дней. Когда по телеку в возрожденном «Взгляде» показали Славу, впервые увидела, что он действительно стал похож на Андрюшу — душа становится похожей, а за ней и лицо.) Все ведут себя достойно — наши, впервые нами выбранные депутаты и наши москвичи, пришедшие на защиту. Отвратительное это чувство, что я дома сижу, а дети — моя Танька, другие (написать «чужие» не могу) — там. Машины к ним ехать нет, она где-то там. Да и вдруг сердце зашалит, не хватает еще со мной комунибудь возиться. Четыре часа. Ждут атаки ОМОНа или десантников. Выкормили на свою голову убийц вместо солдат. Меня все время чуть трясет. Даю кому-то интервью и едва сдерживаюсь, чтоб зуб о зуб не стучал. Ну что? «Врагу не сдается наш гордый «Варяг», пощады никто не желает». Себе, если не победа, несомненно, выбрала бы это. Себе, но не ребятам... Четыре часа. Как они там, у «Белого дома»? Лида больше не звонит. И я не могу прозвониться. Похоже, у них вырубили связь. С улицы донесся грохот. По Чкалова в сторону Курского прошли около тридцати танков. В арке нашего двора торчит БТР, а два танка, что стояли напротив, исчезли. Да, тут еще одна смешная история была, какое-то радио брякнуло, что меня арестовали, это еще вечером было. Мне тогда позвонила Тамара, жена Сережи Григорьянца. Ну я сказала, что нет. Но к этому времени уже сутки стояла у подъезда черная «Волга»-фургон и четыре лба знакомых, из тех, что тут семь лет подряд кантовались. Тогда афганец наш домашний, Игорь Голованов, решил послать мне четырех афганцев, с чем я его благополучно и послала, когда парням самое место у «Белого дома», а я как раньше обходилась, так и теперь перебьюсь. Танки прошли, и «Волга» исчезла. Симптом положительный — не для меня лично, а вообще. Я это так расценила. После гула танков в открытую дверь балкона вошла какая-то объемная тревожная тишина. Шесть утра, рассвет. Подумалось, даже при моем примитивном военном мышлении, что очень уж они тянут. Непрофессионально. «Прекрасная» команда нашего «прекрасного» Президента. Тишина, и по радио ничего нового. «Свобода» повторяет одно и то же. Не догадались, что по такому «исключительному» случаю надо бы вести прямой репортаж круглосуточно. А радио «Эхо Москвы» вырубили в 22 часа 53 минуты. В семь звонок из Токио. Интервью для «Асахи». Я сказала: «Хунта проиграла. Мы победили». И испугалась — не сглазить бы! А сама все тревожней прислушиваюсь: не шумит ли лифт.

Около девяти вернулись ребята мои и моя дочь, которые провели ночь в оцеплении. Серые лица, мокрые от дождя куртки. Юра Самодуров заснул в кресле. Я глянула на него. Он серосиний. Говорят, что было страшно, особенно в час ночи, когда ожидался воздушный десант, и в четыре, когда ждали наземной атаки. Непонятно, почему их не было.

21 августа. Двадцать три года назад с Вроцлавской площади в Праге на весь мир прозвучали слова: «Мы с вами, будьте с нами». Сегодня из Москвы мы повторяем России и миру: «Мы с вами, будьте с нами». На запрос Ельцина Крючков предлагает ему слетать к Горбачеву. Идет заседание Верховного Совета России. Они решили, что полетят Руцкой, Силаев и ряд депутатов вместе с прессой. Поступает сообщение, что заговорщики (все восемь) выехали из Москвы по направлению к аэродрому Внуково. Ельцин отдал распоряжение российскому КГБ: задержать! Впервые в жизни говорю: «Ну, КГБ, действуй».

Три часа десять минут — Рейтер сообщает — задержаны все восемь! Президент жив. За ним вылетели Руцкой и еще кто-то. Слава Богу, пронесло. У «Белого дома» ликование москвичей — тех, кто в эту ночь спас Россию и наше будущее.

И можно спокойно, без эмоций писать статью. Но я только перечислю все, что не было сделано. Призыв к забастовке, а не организованы рабочие дружины, которые (а не толпы москвичей) должны были охранять «Белый дом». За много месяцев после Вильнюса не сделаны в «Белом доме» своя теле- и радиостанции. Колеблющиеся войска не надо было отпускать из города — за день двадцатое августа, если их расположить около «Белого дома», москвичи воспитали бы из них надежных защитников. Да что говорить, если даже пространство вокруг него не радиофицировано и нельзя никуда, кроме как впритык к парламенту, обратиться к людям и приближающимся войскам. Спасибо Москве! Но как бы нас всех теперь не занесло в чрезмерную эйфорию. Не может быть суверенитета без армии и других силовых структур. В наши дни не может быть суверенитета без «масс медиа», особенно без TV. И не может быть столица государства столицей еще и другого государства, в которое первое входит как составная часть. Со всей этой суверенитетной абракадаброй пора кончать, если мы не хотим еще раз стать игрушкой в руках очередной хунты. Но о Центре надо забыть и всем «центристам», и самой России. Пора бы всем стать свободными и равными, чтобы не было, что некоторые все-таки равнее. Незабываемый и всегда нужный Оруэлл! Так! Опять новости! Какое-то агентство сообщает, что Язов застрелился. Вполне в традиции русского офицера, но советского? Сомнительно! Почти сразу звонок из «Белого дома». Они не пойманы. Вылетели в Крым. Язов с ними. А также Лукьянов и Ивашко. Догадаться, зачем им Форос, выше моих интеллектуальных возможностей. Неужели, чтобы сказать Горбачеву: «Прости нас, мы немножко пошалили»? Или, если он был с ними с самого начала, заставить его сказать нам правду? А может, они вылетели не в Крым, а, скажем, в Багдад? Это ведь тоже южное направление! Тем паче что признали наших отечественных бандитов три великие мировые банды — Каддафи, Хусейн и примкнувший к ним Арафат. Сейчас 16 часов 30 минут. По российскому радио объявили, что в 17 часов начнутся передачи российского телевидения.

20—21 августа 1991 года.

POST SCRIPTUM.

Вернулась гласность на круги своя, и возникло столько вопросов, что раскалывается голова. Хунта была у Горбачева накануне мятежа. Они с ним обсуждали введение чрезвычайного положения, якобы в связи с подписанием Союзного договора. Горбачев зачем-то на 21 августа назначал Совет федерации, которому вроде при новом договоре быть не полагается. Начались бесконечные объяснения, где кто был да что делал. У меня никак не включалось внимание, мысли все время возвращались к одному: «Почему, ну почему такое возможно «в нашей юной, прекрасной стране»?» В 23 часа программа «Вести» вновь призвала москвичей к «Белому дому». Танька, только что вылезшая из ванны, позвонила Андрюше Малишевскому, Саше Гольдину, еще кому-то и отправилась туда. Существует ли еще реальная опасность? Или это для формы? Вся молодежь вокруг опять там. А я пытаюсь ответить сама себе на вопросы о будущем или хотя бы их сформулировать. Президент вернулся, и хорошо бы он в ближайшее время поменьше отдыхал. А то, когда он отдыхает, у нас обязательно стреляют. Возможно, он допустит суд над своей проштрафившейся командой или отправит их на «заслуженный отдых». Лично мне это почти все равно. Меня не интересует, кто будет на месте Крючкова, но сохранит ли этот главнейший при президентах или ГКЧП орган свою структуру и свой характер? Или мы изменим его так, что он перестанет быть органом, наблюдающим за президентами и обществом, и наконец-то превратится в орган, охраняющий и общество, и президентов от повторения историй, подобных той, которую мы пережили в эти дни? Меня интересует, избавимся ли мы вполне законодательно (как только что сделал ГКЧП со всякими партиями) от той единственной партии, под мудрым руководством которой мы дожили до фашистского переворота? Тем паче что ее национализированных средств и доходов от ее успешно прошедшей приватизации вполне может хватить на прокорм и обогрев беднейших слоев населения грядущей зимой и на минимальное устройство беженцев. Меня интересует, какой срок нужен для изменения всей структуры армии, чтобы она воспитывала солдат, а не убийц и мы знали бы, что солдат, присягнув народу, не станет стрелять в народ? Меня интересует, когда поименно будут названы те, кто виноват в крови на улицах Алма-Аты, Тбилиси, Сумгаита и Звартноца, Баку, Вильнюса, Риги, Москвы? Когда мы дадим свободу Прибалтике? И всем остальным, кто подтвердит свое стремление к ней демократическим путем? И когда вернутся в свои деревни армяне, которые стали бездомными не из-за этнической розни, а потому что государство и его руководители по примеру Сталина их депортировали. Меня не интересует, когда будет новый Союзный договор, за эти три дня время Союза миновало. Придется всем со всеми вступать в какие-то новые отношения. И меня интересует, кого на переходный период, пока республики-государства осуществят все предыдущее, призовет Президент Горбачев работать в своем аппарате — как он будет называться: Кабинет министров, Президентский совет или как-нибудь по-новому — мне все равно. Неужели такой умный человек и такой «великий» политик опять отыщет кучку выкормышей от КГБ — профессиональных предателей и обманщиков. Быть предателем и обманщиком — это ведь тоже профессия. Правда, как показали три последних дня, не всегда приносящая удачу.

22 августа 1991 года. 1 час ночи

К ЧИТАТЕЛЯМ

Сегодня очень многие спрашивают, почему я ушел с поста главного редактора «Огонька». Иные не только спрашивают, но и отвечают, лишь осложняя ситуацию домыслами.

Прежде всего: мой поступок совершенно естествен. В течение пяти с лишним лет я редактировал журнал, ставший из заурядного партийного еженедельничка одним из самых заметных в стране. Удалось достичь этого, удалось завоевать ваше доверие лишь потому, что в журнале подобрался хороший коллектив. Искренне горжусь, что абсолютному большинству из тех, кто делает сегодняшний «Огонек», подписывал заявления о приеме на работу, формируя журнал не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня. Ваш журнал.

В процессе становления коллектива не все было просто. Со многими пришлось расстаться — от нас уходили не только бесталанные или жуликоватые люди; уходили и те, кто был нужен. Но именно так — в поиске, на принципах взаимного понимания формировался сегодняшний журнал.

Конечно же, я мог бы его редактировать еще много лет. Но нельзя было не видеть, как формируется и подрастает целая плеяда новых огоньковцев, которым пора выходить на первые роли. Мне очень не хотелось бы повторять ошибки своих современников из государственных структур страны, вцепляющихся в должностные сиденья, как некое насекомое в шубу. Одними из первых в стране мы ввели выборную должность главного редактора, и я был счастлив доверием коллектива, избравшего меня на этот пост. Одними из первых в стране мы стали независимым изданием. Одними из первых упразднили партийную организацию в журнале.

Надо идти дальше. После остановленного народом путча события должны пойти поновому и новые люди обязательно должны подняться к власти. Я многое умею и знаю. С удовольствием напишу об этом — как-никак я писатель и, перебирая собственные книги, могу лишь вздохнуть, что давно не писал их, некогда было. С удовольствием прочту лекции — немало университетов мира приглашают меня для этого.

У меня только один дом, и, уезжая от вас на какое-то время или сосредоточиваясь за рабочим столом, я постоянно буду возвращаться. К себе, к вам, к «Огоньку». Мне хочется, чтобы и другие редакторы из моего поколения или из поколений постарше сделали так же. Наш опыт можно передавать многими способами. Но наши должности нужны тем, кто идет следом, кто уже сегодня должен делать больше и лучше. Попросив заменить меня, я одновременно попросил коллектив, чтобы мой преемник был по крайней мере из сорокалетних. Лев Гущин именно из этого поколения, он хорошо знает дело, и его хорошо знают. Я получил свою долю радости, работая для вас и с вами, я получил свою долю грязи, но именно ваши понимание и поддержка не давали гнуться под наветами. Мне очень дорого, что огоньковцы попросили меня остаться в составе общественного совета журнала, продолжать общее дело.

Рассказав вам все это, я надеюсь, что мы приближаемся ко времени, когда демократическая свобода выбора будет помогать любому из нас полнее и полезнее осуществить свою жизнь.

Виталий КОРОТИЧ

ПРОШУ СЛОВА!

ПРОЗРЕНИЕ

Постепенно приходит осмысление всего происшедшего за три дня путча и одновременно осмысление всей прошедшей жизни, всей истории нашей страны. Эти короткие и насыщенные три дня позволили миллионам людей из слепцов превратиться в зрячих. Упала пелена с глаз, ослепительно ярко засветилась реальность мира, окружающего нас. До боли в сердце стала видна убогость и жестокость созданной нами под прессингом, диктатом и нажимом КПСС системы.

Создана действительно империя зла, и в качестве ее главного идола везде поставлен, повешен, нарисован, вычеканен, вылеплен Ленин. Создана новая религия, основой которой служат три главных принципа человеческих отношений:

1) обожать и пресмыкаться перед высшим;

2) ненавидеть и завидовать равному тебе и

3) понукать и подавлять подчиненного тебе.

Только при выполнении этих правил нам было обещано жалкое существование в этой стране. Эта антирелигия была пересажена в наши мозги при помощи геббельсовского типа пропаганды, которая начиналась с детского сада и преследовала нас до смерти.

От ее разлагающего влияния нельзя было нигде спастись. Она без конца вещала, показывала, била по глазам, по нашим нервам. И она победила нас, опутала нас паутиной своей лжи. Подобно Гулливеру, народ был повержен на землю и опутан этой паутиной. Лилипуты наслаждались своей властью, мечтали весь мир опутать ложью своей религии и штамповали танки для захвата новых частей земли.

Для Главного Идола была сооружена гробница, куда идолопоклонники должны были приходить регулярно, принося венки, поправляя при этом ленты на них, кланяясь и произнося клятву следовать его человеконенавистническим наказам. Всех гостей также заставляли ходить на поклон к Главному Идолу. Это был главный ритуал нового идолопоклонства. Миллионы изображений Главного Идола были возведены во всей стране. Даже в маленьких поселках возвышалась его фигура. Ритуальные дома для идолопоклонства назвали райкомами, а в городах — горкомами. Бесконечно, отрывая людей от труда и отдыха, их заставляли молиться Идолу и его учению. Это называлось: «проводить собрание». Постепенно люди привыкали, начинали верить, начинали доносить друг на друга и ненавидеть ближнего. За это они могли стать сами жрецами религии Идола, а значит, хорошо есть, не работать, иметь шанс добраться до должности Главного жреца Идола. Это место называлось место Генерального секретаря. Все к нему стремились, так как на этом месте можно было быть самым жестоким и злым и совершенно безнаказанным. Можно было убивать людей миллионами, перемещать целые народы с одного места на другое, перекрывать огромные реки, захватывать другие народы.

Но люди стремились оставаться людьми, они хотели любить друг друга, быть добрыми, помогать друг другу. Одной религии Идолопоклонства не хватало. Надо было человека сделать экономически полностью зависимым от системы Идолопоклонства. Поэтому у крестьян отобрали землю, а у рабочих — станки. Вся собственность в стране стала принадлежать жрецам-идолопоклонникам, а народу оставалась лишь одна возможность выжить: работать на жрецов и за это получать пайку хлеба. Чтобы свою собственность народ не захватил в свои руки, был создан боевой отряд жрецов под названием КГБ. Их прекрасно вооружили, дали усиленный паек и построили им хорошие дворцы с памятниками Первого помощника Главного Идола у входа. Он был любимцем у Главного Идола, и поэтому ему тоже было приказано поклоняться.

Но многие нормальные люди в других странах хотели спасти людей от жрецов. Поэтому жрецы создали самую огромную армию в мире. Они тратили огромные деньги, отбирая их у народа, на самое лучшее вооружение в мире. Они все время боялись, что кто-то сможет освободить их рабов, и поэтому ничего не жалели на своих генералов и их оружие. Свою армию жрецы использовали и для насаждения Идолопоклонства в соседних странах и все время зорко смотрели, что еще можно прихватить, какие народы закабалить. И им это удавалось не раз. А рабы работали плохо, им было невыгодно «падать носом» на работе, так как пайка их хлеба от этого не увеличивалась. И это была бесконечная головная боль у жрецов: как заставить рабов трудиться, как сделать их инициативными и трудолюбивыми. Все остальное прекрасно получалось у жрецов, кроме «человеческого фактора», как они нас называли. Они делали структурные перестройки, объединяли колхозы, создавали новые министерства, выдумывали бригадные подряды и тысячи дурацких починов, но все тщетно — рабы трудились плохо. Страна разорялась.

Тогда все жрецы разделились на две группы и стали спорить друг с другом. Одни говорили, что народ надо запугать сильней, быть с ним строже, заставлять работать и контролировать, создать госприемку, штрафовать, а если и это не поможет, то арестовывать, арестовывать и арестовывать.

Другая группа жрецов предлагала создать для рабов видимость демократии, объявив «гласность» и разрешив «свободные выборы».

Естественно, эта аллегория схематична, но она, как мне кажется, абсолютно точна. Все люди моей страны должны четко понять, что они совершенно беззащитны, так как не имеют орудий производства, собственности, земли. Их жизнь полностью зависит от государственной бюрократической безмозглой машины. Выборы в парламенты разных уровней не могут решить проблему создания правового государства, так как парламентарии не являются независимыми от государства людьми. Они живут на зарплату, которая выделяется им государством, и поэтому должны играть ту «музыку», которую им заказывает Госпартаппарат. Во всем мире парламенты состоят из людей, которые практически не зависят от государства и поэтому могут защищать интересы своих избирателей и свои интересы. Наш парламент в настоящем своем виде является очередным очковтирательством тоталитарного государства.

Наделение каждого советского человека собственностью, будь то земля, станок, акция, делает его гражданином. Ликвидация государственного монстра — пирамиды министерств — является главным условием развития истинной демократии. Только человек, не зависящий материально от государства, может встать над ним и построить нормальное гуманное государство, в котором ОН — ЧЕЛОВЕК — является главным субъектом.

Естественно, что Человеку-труженику не нужен аппарат подавления типа тайной полиции, ему не нужна гигант-



ская армия, ему не нужен аппарат оболванивания, состоящий из миллионов партийных функционеров, а уж армия экономических надсмотрщиков и контролеров тем более ему не нужна. Ведь если подсчитать расходы на все эти ненужные или слишком громоздкие структуры, то окажется, что можно сэкономить громадные средства, не менее 100 миллиардов рублей в год.

Если еще продать народу принадлежащую ему землю, орудия производства, райкомы партии, то окажется, что можно будет легко залатать дефицит в бюджете, изъяв из обращения полученные от продажи собственные деньги. Закончится инфляция, а главное, быстро начнет нарастать производство.

Все годы перестройки шел бесконечный дележ все более и более уменьшающегося национального пирога. Сегодня уже делить нечего. Надо печь новые большие пироги каждому коллективу, каждому человеку и самим их делить. Без жрецов.

С. ФЕДОРОВ,
генеральный директор МНТК «Микрохирургия глаза», член-корреспондент АН СССР, профессор





«ОГОНЁК» почта

Как бы события ни разворачивались дальше, одно ясно: с коммунистической и социалистической терминологией покончено навсегда.

Е. ИВЛИЕВ
Минск

Несколько дней назад мы все оказались над пропастью. Этот путч был замешен на лжи, в которой мы купались более семидесяти лет. И не дай Бог новым государственным мужам продолжать лгать народу. Все. Терпение кончилось.

Л. СОКОЛОВА
Нижний Новгород

Партаппаратчики вспомнили о правах человека, о демократии, о Конституции. Они, видимо, забыли, как в недалеком прошлом вертели этой Конституцией как хотели, о демократические принципы вытирали ноги, а права человека признавали только за собой. Они не хотят помнить, как в нашей стране нарушалась и нарушается Декларация прав человека, которую наша страна подписала наравне с другими цивилизованными странами.

В. БОХОНОВ
Красноярск

Тридцать лет назад я вступил в партию. По убеждению, а не для того, чтобы получить какую-нибудь должность. И никогда не отождествлял себя с партийным руководством. Партийная верхушка и мы, рядовые коммунисты,— это две разные партии.

Я бы не поверил никогда, что КПСС может сама себя ликвидировать. Но это произошло в конце августа 1991 года. Значит, так тому и быть. А что касается меня, то я больше ни в какие партии вступать не собираюсь.

Ю. ПАВЛОВ
Киров

Так что, демократия в стране победила? Мне кажется, что нет. До тех пор, пока не будут быстро проведены экономические реформы, о которых все почему-то забыли, говорить о победе демократии рано. Российские демократы, вы уже вчера должны были отдать землю крестьянам, а не Советам народных депутатов. Своей медлительностью в проведении экономических реформ вы готовите почву для нового путча.

С. МАКАРОВ
Санкт-Петербург

Знаете, о чем я подумала? Знаменитая строчка «Интернационала» «Вставай, проклятьем заклейменный» — это о нас. И голодные мы, и рабы. А всетаки встали с колен. Может, природа снимет с нас это жуткое проклятье?

А. ТАТАРИНОВА
Москва

Я не хочу знать, какие тайны хранят архивы КГБ, я не хочу еще раз убеждаться в том, в чем давно убежден,— в двурушничестве ЦК КПСС. Уничтожьте вы эти мерзкие документы, ведь противно это все слушать, об этом читать.

М. БОНДАРЕНКО
Владимирская обл.

Забыть день 19 августа вряд ли удастся. Какое тяжкое состояние было у всех утром в автобусе. И никто громко не говорил. А к вечеру, когда возвращалась с работы, уже крик стоял в автобусе, уже в голос ругали этих идиотов-коммунистов, удивляющих нас в который раз своим скудоумием. И это они собирались властвовать?

Я не могу без слез смотреть повторяющиеся кадры защиты российского «Белого дома». Эти прекрасные лица мальчишек и девчонок — ведь все они могли быть убиты... А растерянные танкисты... Мой сын служит в армии. Я поседела от ужаса в эти дни.

Е. МОШКОВЦЕВА
Москва

«НЕ МЕШАЙТЕ ЧЕСТНО ИСПОЛНЯТЬ ДОЛГ»,—

говорит заместитель Генерального прокурора РСФСР, руководитель группы по расследованию дела о государственном перевороте Евгений ЛИСОВ.

— За десять лет вы прошли путь от начальника следственного отдела Курской областной прокуратуры до заместителя прокурора республики. Сейчас — очередная ступень, скорее профессиональная, чем номенклатурная,— вы назначены руководителем группы по расследованию дела о государственном перевороте. С каким настроением, чувством вы приступили к исполнению этого поручения?

— Дело, которое мне поручено, имеет чрезвычайное, исключительное значение не только для нашей республики — для всего Союза в целом. Такого в наших летописях не значится. Даже дело Берия несравнимо. Берия только замышлял государственный переворот, да и то если верить тем, кто подверг его аресту, а затем расстрелял.

— С чего вы начали работу в должности руководителя следственной группы?

— С организационных вопросов. Под моим началом более восьмидесяти следователей. Всего же мы планируем включить в группу около двухсот человек. В основном это люди с периферии. Их надо было где-то разместить, обеспечить нормальными условиями для работы и отдыха.

Одновременно шел оперативный сбор материалов в отношении лиц, арестованных в самые первые дни. Решался вопрос о продлении их пребывания под стражей. Сейчас эта работа позади. Тем, кто был арестован, предъявлены обвинения.

Что касается бытовых вопросов, то здесь по-прежнему много неувязок. Главное, о чем мы просили, замерло на месте. Нам нужно отдельное помещение, чтобы у каждого следователя был свой кабинет — ведь они не могут работать кучей. Каждому следователю надо вести допросы, устраивать очные ставки.

— По какому принципу вы подбираете людей в свою группу?

— Делаю ставку на профессионалов самой высокой пробы, тех, кто зарекомендовал себя на расследовании самых сложных дел.

— Думаете ли взять в группу Тельмана Гдляна?

— Нет. Во-первых, Т. Гдлян в настоящее время не является работником прокуратуры, во-вторых, это бы, на мой взгляд, бросило тень на следствие. Т. Гдлян связал себя публичными высказываниями, в которых совершенно бездоказательно расставил все точки над «и». Даже президента страны, не имея никаких оснований, назвал чуть ли не преступником. После подобных безответственных действий дорога Гдляну в нашу группу закрыта. По моему глубокому убеждению, следователь не может поддаваться эмоциям, выдавать желаемое за действительное и в своих публичных оценках опережать суд.

— А как ведут себя арестованные? Не могли бы вы охарактеризовать поведение каждого из них?

— Давайте об этом пока помолчим. Публичные оценки могут осложнить атмосферу взаимоотношений с обвиняемыми.

— Западные агентства передали, что председатель КГБ Владимир Крючков находится в состоянии прострации...

— Таковым его состояние было в первые минуты ареста. Очень скоро он взял себя в руки.

— Сначала ТВ демонстрировало ваших подследственных в очень комфортных интерьерах, а вчера «Независимая газета» сообщила, что арестованные переведены на общий тюремный режим, что Владимир Крючков сидит в одной камере с двумя уголовниками. Не с целью ли психологического давления эти люди переведены в ужасные условия советских тюрем?

— Информация о том, что обвиняемые переведены на общий тюремный режим, достоверна. Но сделано это не с целью сломать кого-либо. Перед законом все равны. А закон запрещает содержать подследственных в «одиночках». Кроме того, журналисты вышеназванной газеты нарушают презумпцию невиновности, назвав сокамерников Крючкова уголовниками. Они такие же подследственные, как и сам Крючков, с той лишь разницей, что проходят по другим делам. Только суд полномочен определить степень вины каждого из них.

Условия наших следственных изоляторов действительно неблестящи, но там есть радио, газеты приносят... Постель, правда, жестковата, но тут уж ничего не поделаешь. До западных образцов нам, увы, еще далеко.

Наш разговор прервал телефонный звонок. Звонил народный депутат СССР Оболенский, член только что созданной Верховным Советом СССР комиссии по расследованию обстоятельств антигосударственного переворота, просил о встрече. Лисов согласился на нее без всякого энтузиазма, а мне сказал:

— Я расцениваю этот шаг Верховного Совета как вмешательство в ход следствия. Комиссия, судя по высказываниям парламентариев (к сожалению, пока я не видел закона об образовании комиссии), собирается исследовать вопросы, связанные с виновностью членов ГКЧП, параллельно с нами допрашивать их, требовать с них каких-то пояснений, причем чуть ли не с трибуны съезда. Если подобные намерения осуществятся, могу все это расценивать как откровенный произвол, самое элементарное беззаконие.

Хочу просить Верховный Совет и съезд: не мешайте нам честно исполнять свой долг. А заодно предупредить: если и дальше на нас будет оказываться давление, мы вынуждены будем обратиться в Российский парламент с просьбой оградить нас от всякого рода «следственных» комиссий.

Беседу вел Павел НИКИТИН.

Александр НЕЖНЫЙ

НАД БЕЗДНОЙ

Пока мои записки дойдут до читателя, многое уже будет сказано о попытке государственного переворота и о том, как она была отражена. Но я все-таки корплю над ними, то и дело, правда, отрываясь — к телевизору, радио, телефону, всякий раз шалея от потрясающих новостей вроде того, что железный (или медный?) Феликс, почти четыре десятилетия карауливший основанное им министерство пыток, лег черным лицом вниз на мостовую Лубянки; что Пуго совершил, может быть, единственный в своей жизни поступок чести; и что здание на Старой площади, дом ЦК КПСС, проходя мимо которого честные граждане невольно ускоряли свой шаг, опечатан, как жилище преступника или как квартира, требующая дезинфекции...

Всякое неложное свидетельство об этих днях и ночах дорого нам уже сейчас и с каждым годом, верю я, будет еще дороже. Ведь вряд ли станет безупречным дальнейший наш путь и вряд ли и впредь будем мы избавлены от заблуждений, соблазнов и неверных шагов. Но есть теперь у нас бесценная, оплаченная тревогой, мужеством и кровью возможность: оглянуться на эти дни и ночи, вспомнить рев танков, дробь автоматных очередей, оплакавшее погибших темное московское небо — и памятью прожитого поверить искренность вождей, честность партий и слово газет.

Девятнадцатого августа было Преображение Господне — день, когда, по словам преподобного Ефрема Сирина, Иисус возвел учеников своих, Петра, Иакова и Иоанна, «на гору и показал им Царство свое прежде Своих страданий, силу Свою прежде смерти Своей, и славу Свою прежде поругания Своего, и честь Свою прежде бесчестия Своего... Ибо видели лицо Его блистающим, подобно молнии, и одежды Его белыми, как свет». Есть нечто мучительное в наших попытках разгадать тайну совмещения дат и событий на кругах истории и судьбы. Начало переворота, черный, чернейший понедельник — в день Преображения?! Попустил Господь, в тоске говорил я себе утром девятнадцатого, не ведая еще, что Он — спас.

Я был в Киеве, в командировке. Диспетчеры обоих аэропортов — Борисполя и Жулян — согласно отвечали, что расписание уточняется и что по крайней мере сегодня рейсы в Москву отменены. «Сволочи»,— с ненавистью сказал я Лукьянову, Крючкову, Пуго, всему ГКЧП и остальным аббревиатурам, которыми, будто числом дьявола — 666,— мечена была вся наша жизнь. Никогда еще так страшно и остро не ощущал я собственного бессилия и никогда еще не испытывал такой ужасной, такой иссушающей тоски. Я поехал на вокзал, где добыл билет на поезд Бухарест — Москва, отправляющийся из Киева поздним вечером. Целый день был впереди; и целый день в поисках честных известий я метался по городу: в квартире моих знакомых, чей телевизор принимал Си-эн-эн, видел, как в Москву входят танки и как со ступеней «Белого дома» России обращается к москвичам Ельцин; в городской Раде от первого заместителя председателя Александра Николаевича Мосиюка узнал, что к Киеву стянуты войска, готовые вступить в город, как только на его улицы хлынет протестующий против переворота народ... Мосиюк собирался вывозить из Рады и прятать множительную технику.

Среди людей, оказавшихся в тот час в его кабинете и, очевидно, удрученных случившимся, был человек, едва сдерживавший улыбку и уверявший всех, что ничего страшного не произошло. «Кто это?» — спросил я, и мне ответили: «Чуфарин Михаил Сергеевич, секретарь горкома компартии...»

Час спустя на левом берегу Днепра в новой часовне с выбитыми на плите именами погибших в Чернобыле пожарных духовник Покровского монастыря о. Михаил (Петров) служил панихиду, и, чувствуя, как тает в груди тяжелый, смерзшийся ком, я повторял вместе со всеми: «Господи, помилуй!». Если Он не помилует — то кто же?

Широкое серое небо над Киевом неторопливо пересекла стайка военных вертолетов; на стенах домов и подземных переходов на Крещатике появились листовки Руха, объявлявшие действия ГКЧП «военно-большевистским переворотом»; на площади Независимости уже собирались люди, и женщина лет сорока пяти наступала на двух молоденьких милиционеров: «Опять в ГУЛАГ, да?!» В поезде не оказалось ни постельного белья, ни чая, и, само собой, это было несомненным следствием переворота, но не августа девяносто первого, а октября семнадцатого.

Поздним утром двадцатого я заехал домой. Тридцать четвертый троллейбус катил по Бережковской набережной, Мосфильмовской улице и проспекту Вернадского, и, вглядываясь в облик Москвы, я дивился отсутствию зримых знаков совершившейся накануне трагедии. Железная пята большевизма наступила на город, но он или не хотел стряхивать с себя привычную дрему, или не желал верить крутому слому исторических пластов.

Через три часа я подходил к «Белому дому» России, видел выстроенные в баррикады троллейбусы, танк с бело-красно-синим российским флажком, трубы, арматуру, бетонные плиты, в разных местах преградившие подступы к зданию Верховного Совета и правительства России, палатку, рядом с которой между двумя березками протянуто было полотнище с крупными буквами: «МАИ», уложенную на мостовую бетонную балку с выведенным на ней восхитительным призывом: «Янаева — в мавзолей!»

Возле станции метро «Краснопресненская» сидела старушка в платке и вязаной кофте и, безошибочно признавая в уличной толпе тех, кто шел защищать Россию, оделяла их еще не успевшей остыть картошкой и хлебом.

Три Москвы явили себя в те дни и те ночи: трусливо-равнодушная, оцепеневшая перед танками, бронетранспортерами и указами ГКЧП, согнувшая перед ними хребет и с привычной готовностью бросившая под ноги преступникам свою уже порядком потасканную честь; злобно-радостная, празднующая час своего окончательного торжества, возрождения большевистской империи, «Краткого курса», огромной **Потьмы,** в которой жестокие убожества будут определять судьбы людей по форме их черепа и чистоте родословной; и Москва, больше жизни полюбившая свободу. Нам и впредь суждено жить рядом — трем мирам, трем сущностям, трем верам. Я надеюсь, впрочем, что нравственный урок августа девяносто первого сделает свое дело, и если, не дай Бог, в какую-нибудь коммунистически-генеральскую голову снова взбредет окаянная мысль вывести на улицы города танки, то уже не десять, не двадцать и даже не пятьдесят тысяч безоружных людей вышлет навстречу им моя Москва.

Наконец я дозвонился до председателя Комитета по свободе совести Верховного Совета РСФСР о. Вячеслава Полосина. Он попросил, чтобы меня пропустили, и под вечер двадцатого августа я оказался на десятом этаже «Белого дома». «Какой судьбы вы ждете для себя и для всех нас, отец Вячеслав?» — спросил я. Он пожал плечами. «Все будет зависеть от степени безумства этих людей». «Дурной сон,— сказал я.— Знаете, как бывает: тебя должны прикончить, ты понимаешь, что это сон, хочешь проснуться, но не можешь». «Они не продержатся, даже если победят сегодня. Они не смогут улучшить жизнь, и народное недовольство будет расти».

Я подошел к окну. Москва-река была в серой дымке, дождь усиливался. Ниже, на уровне шестого этажа, на бетонной крыше стояли вооруженные автоматами милиционеры, рядом с ними пристроился оператор с покрытой полиэтиленовой пленкой видеокамерой. Внизу, у ступеней «Белого дома», собиралась толпа, и к ней — слышал я — через микрофон обращался священник. «Я — священник Русской православной церкви! Братья и сестры! Вы крещеные люди?! Вы православные люди?!» «Да! Да!» — нестройно кричали ему в ответ. «Тогда ничего не бойтесь! С нами Бог! Христос воскрес!»

Мороз пробежал у меня по коже. Ведь это именно так: когда ты познал над собой Бога, давшего тебе жизнь и открывшего ее смысл, когда ты почувствовал Его направляющую руку и когда между Ним и тобой возникла неразрывная связь, то нет уже на земле силы, способной отвратить тебя от избранного пути. Твой долг, твоя честь, твоя любовь и твоя свобода — это Он; и Он позвал тебя встать за Россию. И вовсе не случайно, не сослепу, и уж, конечно, совсем не из-за того, что так принято,— ибо где они видели раньше, как принято перед боем — две с половиной сотни омоновцев — защитников «Белого дома», парламента, правительства и президента России утром двадцатого крестились, а вечером приобщились Святых Христовых Тайн. Готовясь умирать, они хотели отойти в жизнь вечную; готовясь пасть за Отечество, они хотели изгнать из своих сердец последнюю дрожь; готовясь к бою, они хотели обрести нерушимую опору и крепкую защиту.

В последнее время мне много раз приходилось говорить о том, что религиозный вопрос для нас сегодня — важнейший. А в эти наши роковые дни он вдруг повернулся совсем неожиданной стороной, выясняя исключительную роль священнослужителей, вдохновлявших и ободрявших ополченцев свободы. Неоценимое дело совершили мусульманский мулла и православные священники, находившиеся среди защитников «Белого дома», молившиеся вместе с ними, а когда надо было — вместе с ними заворачивавшие танки; великую ношу принял на свои плечи о. Глеб Якунин, *зек* с семилетним стажем, посаженный за то, что отстаивал право человека быть свободным в жизни и вере, а в страшную ночь с 20 на 21 августа ездивший наперехват войсковым колоннам, отпевавший убитых в тоннеле возле американского посольства и на стократно задаваемый ему вопрос «Что будет?» с уверенностью отвечавший: «Вся затея этих сволочей лопнет, как мыльный пузырь... Я надеюсь на Господа Бога и на слова преподобного Серафима: среди лета запоют Пасху!» И Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, в эти дни как бы с немалым усилием освобождавшийся от сковывавших его старых уз и трудно поднимавшийся в рост первосвятителя Церкви, в последнем своем обращении сказавший, что отвергнутая народом коммунистическая идеология никогда более уже не будет господствующей в России,— помог и он отстоять законную власть.

Но епископы? архиепископы? митрополиты? С ними-то что сталось? Отчего ни один не явился — как Мстислав Ростропович — под стены «Белого дома»? Девятнадцатого августа, на конгрессе соотечественников, когда все встали в знак протеста против большевистского переворота, три митрополита: Кирилл, Смоленский и Вяземский, председатель Отдела внешних церковных сношений, Ювеналий, Крутицкий и Коломенский, Питирим, Волоколамский и Юрьевский, председатель Издательского отдела,— сидели, как гвоздями прибитые.

Когда двадцатого августа, выпуская первое свое воззвание, Патриарх предложил членам Священного Синода поставить под ним свои подписи, митрополиты Кирилл, Ювеналий, Филарет Киевский почли за благо отмолчаться. И, думаю я, не только страха ради иудейска, а и по корневому родству с ГКЧП, по привычке выслуживаться перед прóклятым Богом режимом, по стремлению во что бы то ни стало сохранить сытый покой своего высокопреосвященства. Сказано: «Горе негодному пастуху, оставляющему стадо!». Они ответят: Церковь вне политики. Это правда. Но Церковь не может быть вне жизни — иначе она будет не Церковь, а контора, выписывающая справ-

ки о крещении и отпевании. Церковь митрополита Филиппа, Патриархов Гермогена и Тихона не может не обличать зло — а есть ли для нашего Отечества зло более страшное, чем большевизм, снова пытавшийся столкнуть нас в бездну?

Тьма горьких вопросов мучила меня поздним вечером двадцатого августа, когда радио «Белого дома» передавало сообщения, одно тревожней другого. На Арбате стреляют... на военный аэродром в подмосковной Кубинке приземлились десять ИЛ-семьдесят шестых... меры предосторожности при атаке «Черемухой»: закрыть глаза, остановить дыхание, повернуться вокруг... почувствовав сильную резь в глазах, кашель, немедленно промыть слизистую глаз, прополоскать полость рта... КГБ может использовать психотронный генератор, который, по мнению специалистов, применялся в Тбилиси... если у вашего соседа вдруг обнаружится резкий всплеск патриотизма или, наоборот, появилось глубокое уныние — постарайтесь успокоить его добрыми словами... генератор может быть установлен на соседних крышах или в автомобилях...

Почему это стало возможным?! Нет, не так... Почему никто не внял предостережениям, в которых не было недостатка? Почему какое-нибудь «Слово к народу» с его недвусмысленным призывом к свержению законной власти, размноженное миллионными тиражами и наверняка отравившее сознание многих людей,— почему оно воспринято было той же властью как невинная шалость, детская забава, упражнение в патриотическом чистописании? Почему два его автора — генералы, занимавшие ключевые посты в двух важнейших министерствах,— тотчас не отправлены были на пенсию? Дожидались, когда один из них перейдет от слова к делу и станет участником заговора и государственным преступником? И не надо никаких компьютеров, чтобы с несомненной очевидностью установить стилистическую и смысловую близость «Слова» с натужно-фальшивой патетикой обращения ГКЧП.

Бывало в России, что писатели выступали против власти и платили потом за это: Рылеев — петлей, Достоевский — каторгой... Но если невозможно вообразить Рылеева заодно с Бенкендорфом, то как зато просто, без всяких усилий можно представить, например, Проханова, составляющего тексты для Крючкова и К°, или Бондарева, невнятно втолковывающего нечто о тайне России партийно-промышленно-военному сановнику Бакланову, который плевать хотел и на тайну, и на саму Россию. Не черный ли позор, не стыд ли смертный для русских писателей, для верующего в Иисуса Христа Распутина оказаться среди партийно-гебистской своры, погнавшей на улицы Москвы танки, натравившей на «Белый дом» армию и отлившей пулю для законно избранного Президента России?

Радио сообщило результаты проведенного сегодня по заказу «Интерфакса» опроса общественного мнения. Среди вопросов был и такой: «Как вы думаете, могут ли сейчас начаться массовые репрессии?» 57 процентов опрошенных жителей Воронежа, 61 — Красноярска и 71 — Ленинграда ответили: да, могут... Некоторые депутаты, встречавшиеся с войсковыми колоннами, утверждают, что солдаты находятся в состоянии наркотического опьянения... Московские речники пригнали две баржи и перегородили ими Москву-реку напротив «Белого дома»... К нашему зданию пытались пробиться человек тридцать с чемоданчиками в руках, но были отброшены народом...

На первом этаже сидели парни в белых бронежилетах, с автоматами на коленях и пили «Пепси»; тут же, на барьере гардероба, лежали противогазы. С депутатом Моссовета Валерием Борщовым мы взяли по одному — исключительно, я полагаю, для самоуспокоения. Ибо натянуть маску ему мешала борода, а мне — полное отсутствие навыков противохимической защиты. Борщов только что приехал из Моссовета, который все депутаты покинули по настоянию Попова. «Думаю,— сказал Борщов,— они решились на штурм».

Катило далее валом: Гдлян арестован, к северному входу пробивается группа захвата, самая горячая и самая трагическая сейчас точка в городе — Садовое кольцо... Поднялись на третий этаж, в зал заседаний Совета национальностей, куда пришел генерал-полковник Константин Иванович Кобец. «У нас две задачи,— мощным командирским голосом сообщил он притихшим депутатам,— защитить собравшихся перед парламентом людей и защитить Президента России. У нас, я считаю, хорошо организованная оборона. Шестнадцать баррикад, из них двенадцать — на внешнем обводе, на расстоянии тысяча четыреста — тысяча двести метров от «Белого дома». Триста вооруженных профессионалов. Кроме того,— чеканил он,— «афганцы» и полторы тысячи ополченцев, в основном студенты. Мы организовали их по секторам и перекрыли все возможные входы и выходы... Непосредственного огневого боя мы не хотим, так как нам будет трудно отражать атаки с крыши, из подвалов и подъездов. Поэтому мы принимаем соответствующие меры, которые бы исключили внезапную атаку. Я настаиваю и прошу вашего решения, чтобы правительство и часть президентского совета — сам Борис Николаевич категорически не хочет — покинули это здание. Мы с вами умеем обороняться и знаем, что надо управлять из нескольких пунктов».

Я сидел с включенным диктофоном в одной руке, а другой готов был ущипнуть себя, чтобы наконец проснуться. Право, словно какой политический детектив на южноамериканском материале: путчисты, танки и верный присяге генерал, объявляющий, что у него и его подчиненных есть обязанность ценой собственной жизни защищать честь и достоинство Президента и вице-президента... И где? В центре России...

Среди депутатов возникла тема валидола: кто-то вспомнил, что с утра ничего не ел, а сейчас — глубокая ночь; его утешили, объяснив, что пулю в живот лучше получить голодным. Рассматривались варианты: нас арестовывают, помещают в казармы, где мы продолжаем нашу работу... нам дают пинка под зад, и мы вылетаем на улицу... «Двадцать три года назад,— сказал депутат Шейнис,— танки вошли в Прагу». Борис Немцов выкликнул желающих ехать в войска, Шейнис собрал свою папку и отправился навстречу танкам, вошедшим в Москву. Тем временем на бумажной салфетке начертана была резолюция, предлагающая и впредь считать булыжник оружием пролетариата. (Всю ночь, понял я, не оставляла депутатов тема девятьсот пятого года и Красной Пресни, с неким обратным знаком, но на том же самом месте разыгранная историей восемьдесят шесть лет спустя.) Депутаты ставили свои подписи, надеясь, что когда-нибудь салфетка займет почетное место в музее свободы.

Но как ни велика была моя тревога, как ни внимал я замирающей душой, что до часа икс осталось тридцать минут и, стало быть, начнут в четыре... однако: почему в четыре? почему непременно ночью и самой глубокой? да потому что ночь — мать злодейства, ночью спит совесть и молчит стыд... как ни пытался угадать, что́ станется со всеми нами: и в погасившем свои огни Доме, и за порогом его, где под проливным дождем стеной встали тысячи людей,— я вместе с тем думал, что по великому счастью оказался свидетелем последней судороги режима и что нынешней ночью Россия окончательно освобождается от большевизма. Они могут сегодня взять верх, но не утоленная ими за семьдесят три года ненависть к свободе столь велика, что лишила их всякой творческой силы. Смешно и глупо надеяться, что спецназ КГБ может продлить им историческую жизнь.

Утром двадцать первого пространство вокруг «Белого дома» отчасти напоминало поле после боя. Шел дождь, догорали костры, пахло дымом.

Возле разменных автоматов станции метро «Киевская» я увидел полковника Алксниса. В это мучительное утро он был ясен и свеж, как человек с незамутненной совестью, и на мой полухрип-полувопрос: «Что, полковник, не вышло у вас?!», невозмутимо ответил: «А что случилось?» «Да ведь танки всю ночь по городу!..» Он мимоходом мне улыбнулся: «У страха глаза велики» — и поехал по своим делам, может быть, укреплять «Союз».

Что было дальше?

Была еще одна ночь в «Белом доме» России, но уже, надо признать, совсем другая, располагающая к рассказам о том, что и где случилось в эти двое суток, проведенных нами над бездной. Милая женщина, депутат от Краснодарского края, Вера Александровна Бойко, показывала российский флаг, с которым она выходила к танкам; обсуждали, какое звание приличествует теперь Константину Ивановичу Кобецу. «Генерала армии надо давать»,— сказал кто-то. «Маршала!» — воскликнул о. Глеб Якунин, и зеленые его глаза восторженно блеснули. Бывший (пока) генерал-майор Олег Данилович Калугин усмехнулся. «Я не верил в их победу,— четко проговорил он.— Узнав, кто входит в состав этого комитета, я понял, что это авантюра и долго она не продлится. Они нерешительны, не умеют оценить обстановку, не знают собственного народа. Они думали, что люди остались такими же, какими были в шестьдесят четвертом.., когда безучастно приняли переворот, скинувший Хрущева... Они использовали блеф как главное оружие. Но старые приемы не сработали».

И был потом рассвет, один из самых прекрасных в судьбе России; был праздник, было ликование и светлое чувство великой победы. Бездна отступила, и жизнь снова обретала смысл.

ЖЕРТВА ВЕЧЕРНЯЯ

Когда в ночь с 20 на 21 августа где-то около четырех часов по радио «Белого дома» России объявили, что спецназ ГБ вот-вот начнет штурм здания, я подумал, что многим из нас не миновать нынешней ночью жертвенной участи. Море крови пролилось на нашей земле, но, должно быть, общий, соборный — как сказали бы в старину — наш грех столь велик, что еще не пришли времена прощения и милости. И покаяние наше, наверное, сочтено было недостаточным, и Тот, Которому все открыто и Который ведает даже сокровенную нашу мысль, видел, что истина, сострадание и понимание еще не возобладали в наших сердцах. Еще не миновала чаша, а раз так, то не пристало нам отказываться пить из нее. Так думал я в ту ночь, повторяя вместе с царем Давидом: «Да исправится молитва моя, яко кадило пред Тобою...» И шепча тихо: «Жертва вечерняя...», я не знал, не мог знать в тот час, что противогаз мне так и не понадобится, что пленка моего диктофона вместо выстрелов запишет невозмутимо-богатырский храп одного из российских депутатов и что искупление совершилось и последняя жертва уже принесена. И что из тысяч и тысяч людей, по доброй воле вставших на пути насилия и лжи и готовых погибнуть за свободу, уже избраны трое. Три свечи задуты, три жизни оборваны. И я верю — всем сердцем, всей душой и всеми помыслами моими! — что это были самые лучшие, самые чистые, самые прекрасные из нас; и что там, на Небесах, они говорят сейчас: мера России наполнилась, и хватит с нее, Господи, крови, хватит страданий и печали.

ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ АРХЕОЛОГИЯ

Большой цикл работ сибирского художника Николая Рыбакова носит название «Археология». Сам автор живет и работает в Красноярске, постоянно участвует в археологических экспедициях. Интересуется культурой хакасов, тувинцев, эвенков, долганов.

Однако этнографическое заимствование — не главное в работах Николая Рыбакова, его «археология» носит скорее символический характер. Сегодня мы особенно остро чувствуем свою оторванность от культурного и исторического наследия. И для Николая Рыбакова обращение к метафорике сибирских народов — попытка преодолеть этот разрыв окольным путем.

«Экзистенциальная археология» Николая Рыбакова есть не что иное, как поиск ответов на основные вопросы существования человека в рамках других культур, где подчас не так заметно деформирующее влияние современной цивилизации.

Для художника исключительно важна не только связь и ощущение родства с традицией, с культурой, но и с природой, с миром животных, со «стихиалями», по терминологии Даниила Андреева.

Живопись для Николая Рыбакова — это в полном смысле слова «умозрение в красках». В слове «умозрение» есть некоторая отстраненность, дистанция. Австрийский композитор и живописец Арнольд Шёнберг — создатель «додекафонной» музыки — заметил в этой связи более точно: «Искусство — это крик о помощи тех, кто на себе испытал человеческую судьбу».

Сергей ДРОЖЖИН

Николай РЫБАКОВ

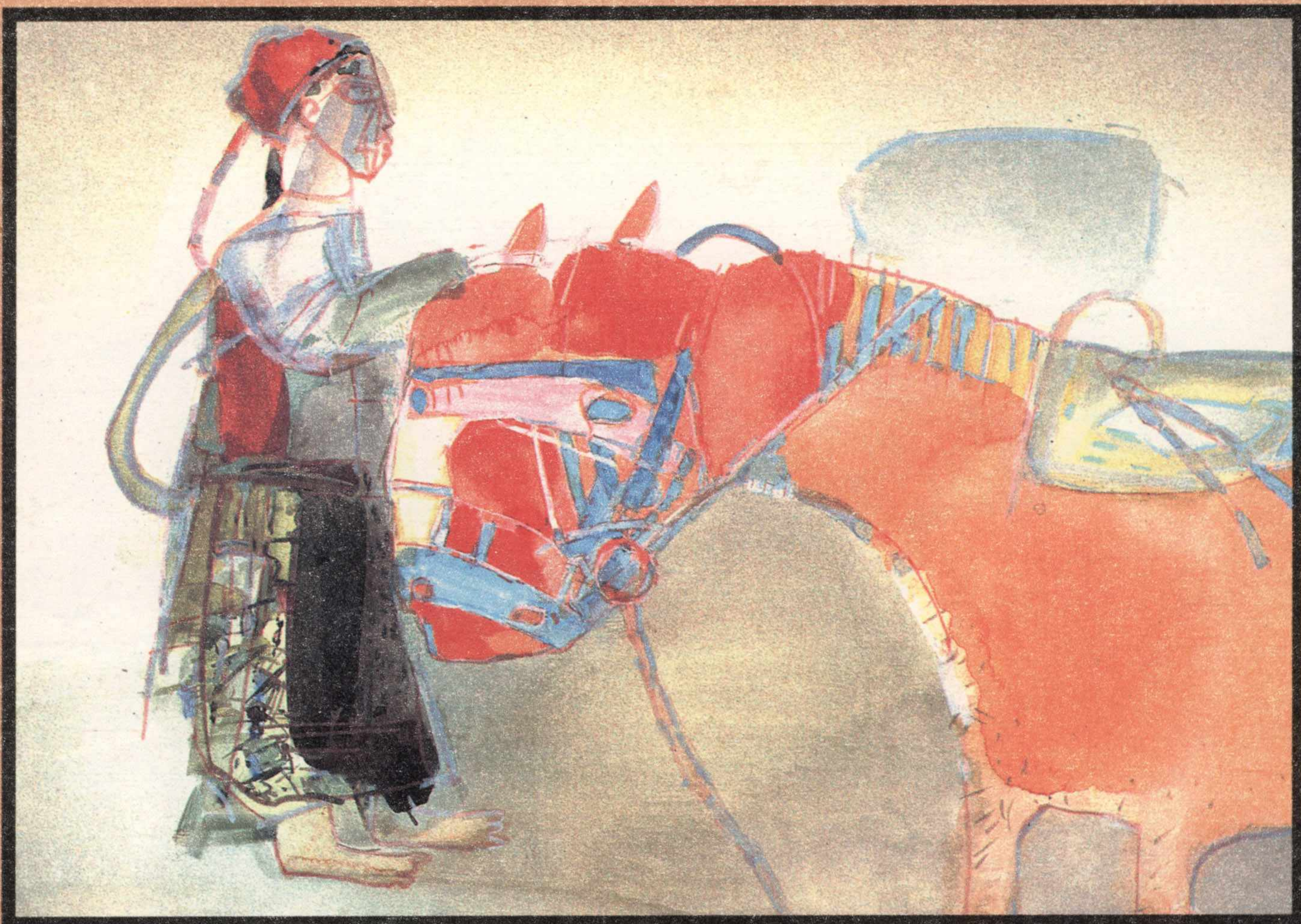


ГОЛОВА ПРЕДКА. 1987.



ЗЕМЛЯК. 1989.

ДОРОГА. 1989.

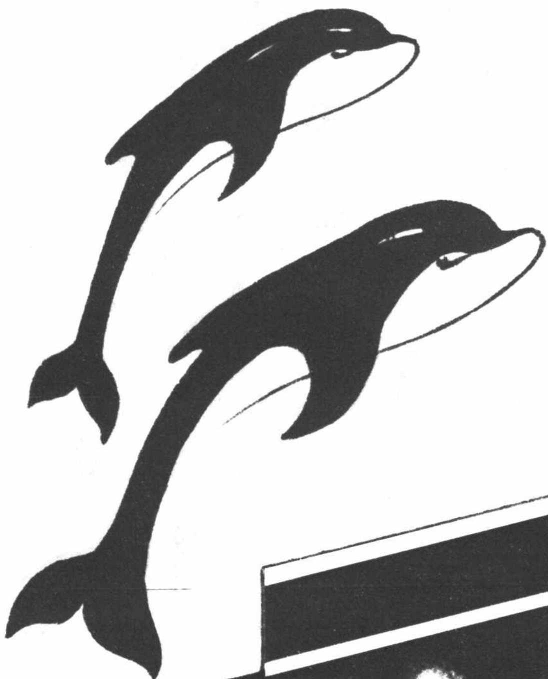


ТУВИНЕЦ
С ЛОШАДЬЮ. 1987.

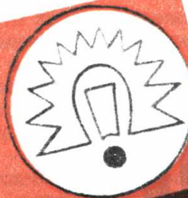
ПТЕНЕЦ ГОЛУБОЙ
ПТИЦЫ. 1987.

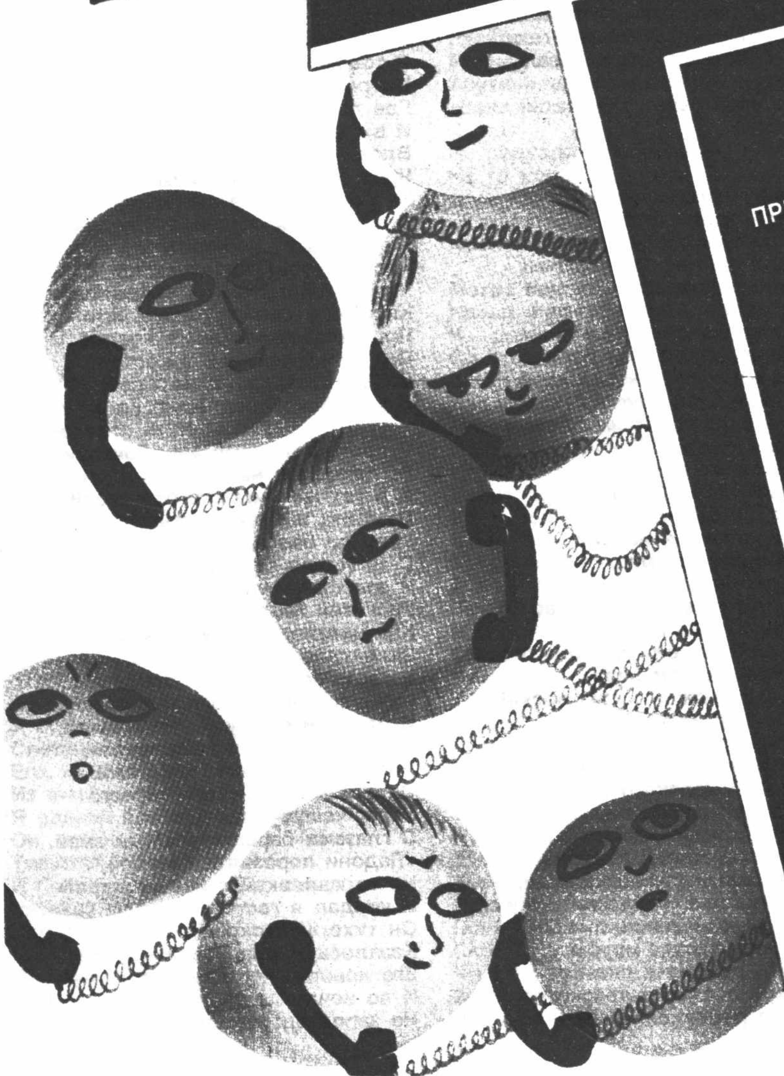


РЫЖЕВОЛОСЫЙ ПРАЩУР. 1987.









Николай КЛЮЕВ

Песнь о Великой Матери



Н. А. Клюев и С. А. Есенин в 1916 году.

ФРАГМЕНТЫ ПОЭМЫ

* * *

Три тысячи верст до уезда,
Их мерил нечистый пурговой
клюкой,
Баркасом — по соли, долбленкой —
рекой,
Опосле путина — пролазы, проезды,
В домашнее след заметай бородой!
Двуглавый орел — государево слово
Перо обронил: с супостатом война!
Затучилась сила — Парфён от гумна,
Земля ячменем и у нас не скудна,
Сысой от медведя, Кондратий
с улова,
Вавила из кузни, а Пров от рядна,—
Любуйся, царь-батюшка, ратью
еловой! <...>
И пели мы стих про Снафиду,
Чтоб черную птицу обиду
Узорчатым словом заклясть:
Как цвела Снафида Чуриле всласть,
Откушала зелья из чарочки сладкой,
За нею Чурила, чтоб лечь под
лампадкой.
Вырастала на Снафиде золота верба,
На Чуриле яблоня кудрявая! —
Эта песня велесова, старая,
Певали ее и на поле Куликовом,—
Непомерное ведкое слово!
Все реже полесья, безрыбнее губы,
Селенья ребрасты, обглоданы
срубы,
Бревно на избе не в медвежий
обхват,
И баба пошла — прощелыжный
обряд,—
Платок не по брови и речью соромна,
Сама на Ояти, а бает Коломной.
Отхлынули в хмару леса и поречья,
Взъерошено небо, как шуба овечья,
Что шашель изгрыз да чуланная
мышь.
Под ним логовище из труб да
из крыш.
То, бают, уезд, где исправник живет,
И давит чугунка захожий народ.
Капралы орут: Ну, садись, мужики!
«Да будет ли гоже, моржу ли клыки
Совать под колеса железному змию?
Помериме, други, котами Россию!»
Лосей смирноглазых пугали вагоны,
Мы короб открыли, подъяли иконы
И облаком серым, живая божница,
Пошли в ветросвисты, где царь
да столица.
Что дале, то горше... Цигарки, матюг,
Народишко чалый и нет молодух,
Домишки гноятся сивухой
Без русской улыбки и духа!

А вот и столица — железная клеть,
В ней негде поплакать и душу
согреть,—
Погнали сохатых в казармы...
Где ж Сирин и царские бармы?
Капралы орут: Становись, мужики!
Идет благородие с правой руки...
Аась, два! Ась, два!
Эх, ты родина — ковыль-трава!..
«Какой губернии, братцы?»
«Русские, боярин, лопарцы!..»
«Взгляните, полковник,— королевич
Бова!»
«Типы с картины Сурикова...»
«Назначаю вас в Царское Село,
В Феодоровский собор на правое
крыло!
Тебя и вот этого парю!..
Наверно, понравитесь государю.
Он любит пожитный... стебель.
Распорядись доставкой,
фельдфебель!»

Господи, ужели меня,
В кудрях из лесного огня?..

Царь-от живет в селе,
Как мужик... на живой земле!..

«Пролетарии всех стран...» Глядь,
стрюцкий!
«Не замай! Я не из стран,
— калуцкий!» <...>

* * *

Я прохожий, тельник на шее,
Светлоярной кувшинке молюсь:
Кличь кукушкой царя от Рассеи
В соловецкую белую Русь!

Иль навеки шальная рубаха
И цыганского плиса порты
Замели, как пургою, с размаха
Мономаховых грамот листы?!

Вот он, речки Смородины заводь,
Где с оглядкой, под крики сыча,
Взбаламутила стиркой кровавой
Черный омут жена палача!

Вот он, праведный Нил с Селигера,
Листопадный задумчивый граб.
Кондовая сибирская вера
С мановением благостных пап!

С ним тайга, подорожие ссылок,
Варгузи, пошевеливай вал,
Воровской поселили подпилок,
Как сверчка, в Александровский зал.

И сверчок по короткой минуте
Выпил время, как тени закат...
Я тебя содрогаюсь, Распутин —
Домовому и облачку брат!

Не за истовый крест и лампадки,
Их узор и слезами не стерт,
Но за маску рысиной оглядки,
Где с дитятей голубится черт.

Но за лунную глубь Селигера,
Где утопленниц пряжа на дне.
Ты зеленых русалок пещера
В царской ночи, в царицыном сне!

Ярым воском расплавились души
От купальских малиновых трав,
Чтоб из гулких подземных конюшен
Прискакал краснозубый центавр.

Слишком тяжкая выпала ноша
За нечистым брести через гать,
Чтобы смог лебеденок Алеша
Бородатую адскую лошадь
Полудетской рукой обуздать!

* * *

Был светел царский сад,
Струился вдоль оград
Смолистый воздух с медом почек,
Плутовки осы нектар строчек
Носили с пушкинской скамьи
В свое дупло. Казалось, дни
Здесь так безоблачны и сини,
Что жалко мраморной богине
Кувшин наполнить через край.
Один чугунный попугай
Пугает нимфу толстым клювом.
Ах, посмотрел бы Рюрик, Трувор
На эту северную благость!
Не променяли б битвы сладость
На грот плющевый и они?!.
«Я православный искони
И Богородицу люблю,
Как подколодную змею,
Что сердце мне сосет всечасно!
С крутыми тучами, ненастный,
Мой бог обрядней, чем Христос
Под утиральником берез,
Фольговый, ноженьки из воска!
Моя кремнистая полоска
Взборонена когтями...» «Что ты!
Не вспоминай кромешной злоты!
Пусть нивы Царского Села
Благоухают, как пчела,
Родя фиалки, росный мак...»
«А ну тя к лешему, земляк!
Не жги меня пустой селедкой,
Давай икры с цимлянской водкой,
Чтоб кровью вышибало зубы!..
Самосожженческие срубы
Годятся Алексею в сказки,
Я разотру левкас и краски
Уж не на рябкином яйце!
Гнездятся чертики в отце,
Зеленые, как червь капустный,
Ему открыт рецепт искусный,
Как в сердце разводить гусей —
Ловить рогатых карасей —
Забава царская... Ха! Ха!..
Царица же дрожит греха,
Как староверка общей мисы,
Ей снятся море, кипарисы
И на утесе белый крест —
Приют покинутых невест,
И вдов, в покойников влюбленных!
Я для нее из бус иконных
Сварил, как щи из топора,
Каких не знают повара,
Два киселя — один из мысли,
Чтобы ресницы ливнем висли,
Другой из бабьего пупка,
Чтоб слез наплавилась река!..
Вот этот корень азиатский,
С тобою делится по-братски.
Надрежь меж удом и лобком,
Где жилы сходятся крестом,
И в ранку, сладостнее сот,
Вложи индийский приворот,
Чрез сорок дней сними удильце,
Чтобы пчелою в пьяной пыльце
Влететь, как в улей, в круг людской
И жалить души простотой,
Лесной черемухи душистей,
Что обронила в ключ игристый
Кисейный девичий платок!..
Про зелье знает лишь восток
Под пляс факиров у костра!..
Возьми мой крест из серебра
С мидийской надписью... в нем
корень!..»
Я прошептал: «Оставь, Григорий!..»
Но талисман нырнул в ладони —
И в тот же миг, как от погони,
Из грота выбежал козел,
Руно по бедра, грудью гол,
С загуслым золотом на рожках...
И закопытилась дорожка,
Распутин заплясал с козлом,
Как иволга, над кувшином
Заплакала из камня баба,
У грота же, на ветке граба
Качалась нимфа белой векшей.
И царский сад, уже померкший,
Весь просквозил нетопырями,
Рогами, крыльями, хвостами...
Окрест же сельского чертога
Залег чешуйчатой дорогой
С глазами барса страшный змей.
«Ладони порознять не смей,
Не то малявкой сгинешь, паря!»
И увидал я государя.
Он тихо шел окрай пруда.
Казалось, черная беда
Его крылом не задевала,
И по ночам под одеяло
Не заползал холодный уж.

(Окончание. Начало в № 35.)

В час тишины он был досуж
Припасть к еловому ковшу,
К румяной тучке, камышу,
Но ласков, в кителе простом,
Он все же выглядел царем.
Свершилось давнее. Народ,
Пречистый воск потайных сот,
Ковер, сказаньями расшитый,
Где выоги, сирины, ракиты,—
Как перл на дне, увидел я
Впервые русского царя.
Царь говорил тепло, с развальцем,
Купецкий сын перед зеркальцем,
С Коломны — города церквей.
Напрасно ставнями ушей
Я хлопал, напрягая слух,—
В дом головы не лился дух,
И в сердце — низенькой светлице,
Как встарь, молчальницы-сестрицы
Беззвучно шили плат жемчужный.
Свершалось давнее. Семужный,
Поречный, хвойный, избяной,
Я повстречался вьявь с судьбой
России — матери матерой,
И слезы застилали взоры,—
Дождем душистый сенокос,
Душа же рощею берез
Шумела в поисках луча,
Бездомной иволгой крича,
Но между рощей и царем
Лежал багровый липкий ком!
С недоуменною улыбкой,
Простой, по-юношески гибкий,
Пошел обратно государь
В вечерний палевый янтарь,
Где в дымке арок и террас
Залег с хвостом змеиным барс.
«Коль славен наш» поет заря
Над петропавловской твердыней
И к милосердной благостыне
Вздымает крылья-якоря.
На шпице ангел бирюзовый.
Чу! Звякнул медною подковой
Кентавр на площади Сенатской.
Сегодня корень азиатский
С ботвою срежет князь Димитрий,
Чтоб не плясал в плющовой митре
Козлообраз в несчастном Царском.
Пусть византийским и татарским
Европе кажется оно,
Но только б не ночлежки дно,
Не белена в цыганском плисе!
Не от мальчишеской ли рыси
Я заплутал в бурьяне черном
И с Пуришкевичем задорным
Варю кровавую похлебку?
Ах, тяжко выкогтить заклепку
Из Царскосельского котла,
Чтоб не слепила злая мгла
Отечества святые очи!..
Так самому себе пророчил
Гусарским красноречьем князь —
В утробу филина садясь,
(Авто не называл Григорий).
И каркнул флюгер: горе, горе!
Беда! Мигнул фонарь воротам.

В ту ночь индийским приворотом
Моя душа — овин снопами,
Благоухала васильками.
И на радении хлыстовском,
Как дед на поле Куликовском
Изгнал духовного Мамая
Из златоордного сарая,
Спалив поганые кибитки,
Какие сладкие напитки
Сварил нам старец Селиверст!
Круг нецелованных невест
Смыкал, как слезка перстенек,
Из стран рязанских паренек.
Ему на кудри меда ковш
Пролили ветлы, хаты, рожь,
И стаей, в коноплю синицы,
Слетелись сказки за ресницы.
Его, не зная, где опаска,
Из виноградников Дамаска
Я одарил причастной дулей,
Он, как подсолнечник в июле,
Тянулся в знойную любовь,
И Селиверст, всех душ свекровь,
Рязанцу за уста-соловку
Дал лист бумаги и... веревку.
Четою с братчины радельной
Мы вышли в сад седой, метельный,
Под оловянную луну.
«Овсеня кликать да весну
Ты будешь ли, учитель светлый?..
У нас в Рязани сини ветлы,
И месяц подарил узду
Дощатой лодке на пруду —
Она повыглядит кобылой,
Заржет, окатит теплым илом,
Я ж, уцепимшись за мохры,
Быстринкой еду до поры,
Пока мой дед под серп померкший
Карасьи не расставит верши!
Ах, возвратиться б на Оку,
В землянку к деду рыбаку,
Не то здесь душу водкой мучить
Меня писатели научат!»
«Мой богоданный вещий братец,
Я от избы, резных полатец
Да от рублевской купины,
И для языческой весны
Неуязвим, как крест ростовский,
Мужицкой верой беспоповский,
Мой дух в апостольник обряжен:
Ни лунной, ни ученой пряжей
Его вовек не замережить!..
Но чу! На Черной речке скрежет —
В капкане росомахи стон!..
Любезный братец, это он,
В богатых тобольских енотах,
В губе сугроба, как в воротах,
Повис над глыбкой полыньей!..»
«Учитель светлый, что с тобой?
Не обнажайся на морозе!..
Быть может, пьяница в навозе,
В тени косматого ствола!..»
Ему не виделось козла,
Сатир же под луною хныкал,
И снежной пасмой павилика
Свисала с ледяных рогов...
Под мост, ныряя меж быков,
И метя валенком в копыто,
Достигли мы губы-корыта,
Где, от хорька петух в закуте,
Лежал дымящийся Распутин!
Кто знает зимний Петербург,
Исхлестанный бичами пург
Под лунной перистой дугой,
Тот видел душ проклятых рой
И в полыньях скелетов пляски.
В одной костяк в драгунской каске,
На Мойке, в Невке... Мимо, мимо!
Их съели раки да налимы!
«Григорий что ли?!» И зрачок —
В пучине рыбий городок
Раскрыл ворота — бочку жира,
Разбитую на водной шири —
Крушенья знак и гиблых мест.
«Земляк... Спаси!.. Мой крест!..
Мой крест!
Не подходи к подножной глыбе,
Не то конец... Прямая гибель!..
Держуся я, поверь на слово,
За одеяние Христово.
Крестом мидийским целься в
скулы...
Мотри вернее!..» Словно дуло,
Навел я руку в мглистый рот,
И... ринул страшный приворот!
Со стоном обломилась льдина...
Всю ночь пуховая перина
Нас убаюкать не могла.
Меж тем из адского котла,
Где варятся грехи людские,
Клубились тучи грозовые.
Они ударили нежданно,
Кровавою и серной манной
В проталый тихозвонный пост,
Когда на Вятке белят холст,
А во незнаемой губернии
Гнут коробье да зубят гребни,
И в стружках липовых лошкарь
Старообрядческий тропарь
Малюет писанкой на ложке!
Ты показал крутые рожки
Сквозь бранный порох, козлозад,
И вывел тигров да волчат
От случки со змеей могильной!
России, ранами обильной,
Ты прободал живую печень,
Но не тебе поставит свечи
Лошкарь, кудрявый гребнедел!
Есть дивный образ, ризой бел,
С горящим сердцем, солнцеликий.
Пред ним лукошко с земляникой,
Свеча с узорным куличом!
Чтоб не дружить вовек с сычом
Малиновке, в чьей росной грудке
Поют лесные незабудки!

* * *

Двенадцать лет, как пропасть, гулко
страшных,
Двенадцать гор, рассеченных на
башни,
Где колчедан, плитняк да аспид
твердый
И тигров ненасытных морды!
Они родятся день от дня
И пожирают то коня,
То девушку, то храм старинный
Иль сад с аллеей лунно-длинной.
И оставляют всюду кости,
Деревья и цветы в коросте,
Колтун на нежном винограде,
С когтями черными в засаде.
О горе, горе! — воет пес,
О горе! — квохчет серый дрозд,
Беда, беда! — отель мычит,
Бедою тянет от ракит.
Вот ярославское село —
Недавно пестрое крыло
Жар-птицы иль струфокамила,
Теперь же с заступом могила
Прошла светелками, дворами...
По тихой Припяти, на Каме,
Коварный заступ срезал цвет,
И тигры проложили след.
Вот нива редкою щетиной,
В соломе просквозила кровь
(Посев не дедовский старинный —
Почтить созвучием — любовь,
Как бирюзой дешевку ситца,
Рублевской прориси претится).
Как будто от самой себя
Сбежала нянюшка-земля,
И одичалое дитя,
Отростив зубы, волчий хвост,
Вцепилось в облачный помост
И хрипло лает на созвездья!..
Вон в берендеевском уезде
За ветроплясом огонек —
Идем, погреемся, дружок!
Так холодно в людском жилье
На Богом проклятой земле!..
Как ворон, ночь. И лес костляв.
Змеиные глаза у трав.
Кустарником в трясине руки —
Навеки с радостью в разлуке!
Вот бык — поток, рога — утес,
На ребрах смрадный сенокос.
Знать, новоселье, правят бесы
И продают печенку с весу,
Кровавых замыслов вязигу.
Вот адский дьяк читает книгу,
Листы из висельника кожи,
Где в строчках смерть могилы
множит
Бескрестные, как дом без кровли!..
Повышла Техника для ловли,—
В мереже, рыбами в потоке,
Индустриальные пороки —
Молитва, милостыня, ласка,
В повойнике парчовом сказка
И песня про снежки пушисты,
Что ненавидят коммунисты!
Бежим, бежим, посмертный друг,
От черных и от красных вьюг,
На четверговый огонек,
Через Предательства поток,
Сквозь Лес лукавых размышлений,
Где лбы — комолые олени
Тучны змеиною слюной,
Там нет подснежников весной,
И к старым соснам, где сторожка,
Не вьется робкая дорожка,
Чтоб юноша купал ресницы
В смоле и яри до зарницы,
Питая сердце медом встречи...
Вот ласточки — зари предтечи!
Им лишь оплакивать дано
Резное русское окно
И колоколен светлый сон,
Где не живет вечерний звон.
Окно же с девичьей иголкой
Заполыхало комсомолкой,
Кумачным смехом и махрой
Над гробом матери родной!
Вот журавли, как хоровод,—
На лапках костромских болот
Сусанинский озимый ил,
Им не хватило птичьих сил,
Чтоб заметелить пухом ширь,
Где был Ипатьев монастырь.
Там виноградарем Феодор,
В лихие тушинские годы,
Нашел укромную лозу
Собрать алмазы, бирюзу
В неуязвимое точило...
«Подайте нам крупицу ила,
Чтоб причаститься Костромой!»
И журавли кричат: «Домой,
На огонек идите прямо,
Там в белой роще дед и мама!»
Уже последний перевал.
Крылатый страж на гребне скал
Нас окликает звонким рогом,
Но крест на нас, и по острогам,
С хоругвями, навстречу нам
Идет Хутынский Варлаам,
С ним Сорский Нил, с Печеньги
Трифон,
Борис и Глеб — два борзых грифа,
Зареет утро от попон,
И Анна с кашинских икон —
Смиренное тверское поле.
С пути отведать хлеба-соли
Нас повели в дубовый терем...
Святая Русь, мы верим, верим!
И посохи слезами мочим...
До впадин выплакать бы очи
Иль стать подстрешным воробьем,
Но только бы с родным гнездом,
Чтоб бедной песенкой чи-ри
Встречать заутреню зари.
И знать, что зернышки, солому
Никто не выгонит из дому,
Что в сад распахнуто давно
Резное русское окно,
И в жимолость упали косы!..

На Рождество Богородично. 1931<...>

Подготовка текста и публикация
В. ШЕНТАЛИНСКОГО.

СЛОВАРЬ

Апостольник — плат, которым монахи прикрывают грудь и шею.

Бармы — оплечье, ожерелье на торжественной одежде.

Варгузи — баргузин, северо-восточный ветер на Байкале.

Векша — белка.

Вязига — спинное сухожилие осетровых рыб. С вареной вязигой пекут пироги.

Коты — здесь верхняя мужская обувь, надеваемая, как калоши, поверх сапог.

Овсеня кликать — обряд обхода дворов с заклинательными песнями.

Овсень — языческое божество.

Пасма — пасмо, моток пряжи.

Повойник — головной убор замужней женщины.

Рядно — грубый холст из льняной или пеньковой пряжи.

Сирин — райская птица радости.

Струфокамил — страус.

Стрюцкий — дрянной, презренный.

Тельник — нательный крест.

Нина КАТЕРЛИ

УТРАТА

РАССКАЗ

Зато теперь она имеет право позвонить. Конечно, не сию минуту, сейчас... Сколько там? Четверть пятого? Вот сволочь, тьмущая тьма, транспорта никакого, такси не поймаешь, это значит — пешком на Петроградскую, на мосту, конечно, ветрище... Утром можно позвонить, ровно в девять.. на законном основании: «У меня несчастье, скончалась мать».

Валентина отошла от окна. Надо одеваться. Дура, зачем взяла трубку? Ведь не хотела, слышала звонки сквозь сон и нарочно не просыпалась — сейчас замолчит, не туда попали, сколько раз уже — вскочишь среди ночи, а там кретины пьяные развлекаются или вообще ничего, треск. Лежала не шевелясь, а телефон все звонит, звонит... И вдруг поняла: он! Господи, да ведь он же! Выпил и звонит. А может, помощь срочно нужна? Вскочила, бросилась, чуть не упала, поскользнувшись босиком на паркете.

Петровича узнала не сразу, другой голос ожидала услышать, а узнав, даже не поняла сперва, чего ему надо.

— Ты... это.— сказал Петрович,— ты, значит, как трамваи пойдут, сразу приезжай.

— Сколько сейчас времени, знаете?! — рявкнула Валентина.

— Ты приезжай,— покорно повторил Петрович,— тут... вообще дела. На букву «хэ» дела-то. Мать вообще... если честно, померла. Так что вот.

И тут впервые, еще всего не осознав, Валентина не то что подумала, а так, мелькнуло: теперь можно позвонить Паше.

— Говорите толком,— приказала Петровичу, плечом прижимая трубку и беря со стула халат — дуло от окна.

— С вечера все охала,— сообщил он,— а часа два назад слышу: г-р-р-охх! Ну, думаю... Встал, пошел. Смотрю — лежит. На полу, значит. В одной рубахе. Вот.

— С чего вы взяли?.. Может, обморок?

— Я что, покойников не видал? Кто войну прошел, не спутает. Лежит, глаза открыты, рот открыт. Я, конечно: Ирина Васильевна! Ага... Молчит. Это она, значит, пока я подымался,— уже... Значит, такие дела.

— Ну!!

— Что ж тут — «ну»? «Скорую» вызвал. Два часа ехали, тут живой помрет, а не то что. Бумажку оставили, тебе, для поликлиники. Чтобы — это. Справку о смерти.

— Что же вы мне сразу не позвонили? Полночи дожидались.

— А зачем беспокоить? Поможешь? Ей, брат, теперь никто не поможет. Если честно. Так что прими сочувствие и возьми себя в руки.

Учит. Сочувствующий... Два часа размышлял. Для чего тогда было звонить сейчас, сам: «Не поможешь»,— сам звонит. Логика. Маразматик чертов!

— Я вот что,— продолжал Петрович,— к свояку пойду, он тут рядом... Дверь на один замок запру, на верхний. Ладно?

Так бы сразу и сказал: мол, боюсь один в квартире с покойником, до утра не дотерпеть... Фронтовик. Гос-с-поди! Ведь она же вчера сказала: «Восьмой десяток — это восьмой десяток, каждая ночь может быть последней». Валентина, как обычно, подумала: «Шантаж! Хочет, чтобы волновались, все вечера напролет с ней просиживали. Радости — ни той, ни другой, а пускай Петрович завидует — какая дочь заботливая. Тщеславие. Последнее время взяла моду пугать близкой смертью. Слишком часто, чересчур. Стоит два раза чихнуть, звонит: «Плохи дела, температура сорок, Иван Петрович, конечно, взволнован, вызвал врача, так они же неделю не явятся — старикам везде у нас почет».

Все, разумеется, выдумки. И «сорок», и тем более волнения Петровича. У Петровича к чужим делам другой интерес, так сказать, профессиональный. Чужие разговоры подслушивать — это да, а чтоб врачей вызывать... Приоткрсет дверь в прихожую, затаится, как крокодил в болоте... Валентина не раз предупреждала мать: «Смотри, настучит». А та: «Скверно думаешь о людях. Да и нечего мне бояться, отбоялась. Что со мной могут сделать? В тюрьму... положат?»

Вот вся она тут. Во многом из-за этого Валентина и осталась одна. В юности, еще студенткой, никого к себе позвать не могла. Сидеть и трястись — вот сейчас маменька что-нибудь выдаст? Да и вообще антураж — иконы, лампадка, портрет царского офицера с крестом: «Прикажешь стыдиться родного отца?! Не дождешься!» Испортила жизнь... и ушла. Впрочем, что теперь...

Причесываясь, Валентина разглядывала свое лицо. Худое, под глазами мешки. И морщины. Не девочка, сорок восемь... Сколько же они с Пашей не виделись? С пятого ноября. Точно! А сегодня шестое февраля. За это время похудела на три килограмма, потому и морщины. Звонила ему не раз — «занят». Сердится, а за что? У Валентины, конечно, тоже самолюбие, да только сердце уж очень болит — вдруг у него там неприятности?

Валентина села в прихожей на стул — надевать сапоги. Как нарочно, вчера повздорили с матерью. Забежала после работы, принесла продукты, все взяла, как обычно, у себя в столовой, в исполкоме, только кефир — в молочном. Торопилась к себе домой — пятница, вдруг все-таки Павлик позвонит. Раньше по пятницам звонил регулярно. К тому же хотела посмотреть детектив по телевизору, мать их терпеть не может, выключит да еще обсмеет: «Увлекаешься наркотиками, чтобы не затруднять мозги?» Валентина мигом разобрала сумку, убрала что нужно в холодильник. Мать смотрела с неодобрением, потом громко и медленно — это у нее такая знаменитая манера говорить, чтобы всему миру за километр было слышно,— объявила о своем плохом самочувствии. Валентина в ответ спокойно сказала, что погода сегодня мерзкая и настроение тоже мерзкое — в магазине очередь, все злые, толкаются. Сказала и тут же спохватилась — сейчас начнется. И началось: «А с чего бы, скажи на милость, людям у нас быть добрыми? От собачьей жизни? И так, я считаю, железное терпение у народа». Валентина сорвалась: «Не терпение, а хамство и безделье! Всем на все плевать. Работать не желают, только жалуются, точно дядя им должен все — на тарелочке... Работать надо! Или, может быть, есть другие предложения? Конструктивные?» Ну, и получила: «Есть. Верните людям что взяли. Почту, телефон, телеграф, вокзалы. Что там еще? Мосты. А для начала землю». Все это, заметьте себе, в полный голос при открытой двери. Чтобы стукачу получше слышно. И ведь ей, матери, действительно терять нечего, а вот Валентину запросто выставят из родного райфо: учреждение, что ни говори, при исполкоме, а тут мамаша — антисоветчица, ведет в квартире клеветническую пропаганду, а дочь потакает! Не выдержала, наговорила чего надо и не надо, как будто такого человека можно хоть в чем-то убедить. Все назло, всю, всю жизнь!.. Простились плохо — мать предупредила: не сегодня-завтра умрет.

Выполнила...

А зачем, ради чего, для кого мчаться туда сейчас сломя голову? Чтобы доказать Петровичу, какая хорошая дочь? Так ведь Петрович-то сам сбежал... Мать бы, конечно, одобрила — неутешная дочь спешит по холодрыге отдать последний долг. Или это еще не последний?.. Вот интересно, если Валентина сейчас по дороге простудится и сляжет, как будет с последним-то долгом? Кто тогда займется похоронами?.. А где хоронить? Мать без конца твердила, чтобы по церковному обряду, с отпеванием... Ну, уж это — извините, ей теперь все равно, а Валентине — не все. Так что придется обойтись без попа. А еще просила, чтобы непременно в землю. Конечно, в крематории удобней, но тут придется выполнить. Ничего, на работе помогут, сделают.

Между тем Валентина уже спускалась по лестнице. Здесь, как обычно, пахло мочой — сколько раз ставили на парадную замки, сигнализацию — без толку. Все сломают, сволочи! Алкаши. В соседнем доме винный магазин, так они повадились здесь распивать. Тут выпьют, тут же и ... гадят. И ведь сто раз звонила в милицию — без толку, и там такие же работнички, как повсюду. Рука нужна. Твердая, хозяйская рука, чтоб чувствовали.

Без страха у нас друг друга сожрут... Ч-черт! Так и ноги недолго поломать — опять вывинтили лампочку, подонки! И ведь это не просто хулиганы — воры. Соседи. Как же, сорок копеек, экономия в хозяйстве. Наверняка те, из седьмой квартиры, там такой табор — страх глядеть! Пятеро детей, и мамаша опять с животом. Животный мир... А ведь Валентина могла жить в старом своем доме, на Петроградской. Сколько раз предлагала матери съехаться, и Петрович соглашался на обмен, не глядя. Не дурак, понимает — у Валентины-то отдельная квартира, в центре. Мать наотрез: «Нажились вместе, довольно с меня того ада». Потом уж и Валентина не настаивала — появился Паша, а привести его к матери — страшно себе представить!.. Зато, если бы тогда съехались, теперь бы... а так жилплощадь — кому попало!.. Одна умирала. Может, звала, может, час на полу провалялась, пока старый пень расчухал...

Валентина зло вытерла глаза.

На улице, как ни странно, было тихо — ветер шуровал где-то по верхам. Пахло весной, мокрым снегом. На небе висела большая дряблая луна. В таких случаях всегда помогают родственники, а у них с матерью никого, была тетка в Томске, да и той уже восемь лет как не стало. Не Шурку же за родню считать! А ведь мать считала... Одно облегчение — не придется больше ездить к Шурке в богадельню, в кошмарные эти ПНИ — психоневрологический интернат. Придумал какой-то шутник сокращеньице! Мать возмущалась: «Почему психоневрологический? Если ты стар, значит, непременно слабоумен?» Валентина спорила: «Склероз есть склероз, если у кого-то ум светлый, в ПНИ не определят, не волнуйся. А Шуретта твоя и в молодости была с тараканами». Не слушает. И раз в месяц обязательно: «Завтра поезжай к Шуре, не забудь купить масла, яблок хороших, захвати бумажные салфетки. Шура — одинокий человек, мы не позаботимся — больше некому. И ни в чем она не виновата... Как это «не хочу»?! Тогда придется мне...» Теперь — все! Отъездилась! Хорошего понемножку... Вот все это и нужно рассказать ему. Нет, не про Шурку, про мать, как бы он там ни сердился, а у Валентины теперь никого нет ближе. На всю оставшуюся жизнь. Он выслушает — ведь у нее такая утрата, мать потеряла. Когда говорят о таком, никто не решится прервать, поторопить. Валентина расскажет все подробно: как проснулась ночью от звонка, бросилась к матери — одна, ночью, как бежала, а у самой сердце рвалось от горя. И что помочь некому, пожалеть некому, одна осталась на свете! Он должен выслушать, ведь у Валентины горе... Горе? Но почему же на самом деле она сейчас ничего не чувствует? Шок? А может, потому что и тут мать — не по-людски? Глупость какая, будто умирают нарочно!.. И все же этот бесконечный моральный террор именно так и должен был кончиться — пригрозила и привела в исполнение. Чтобы Валентине теперь до ее собственной смерти — угрызения... Да еще эта луна, и ни одной живой души... А ведь мать знала, чувствовала каким-то образом, что с Пашей они поссорились, хоть и не видела его ни разу, а недавно вдруг сказала: «Не вздумай унижаться перед своим... этим, он тебе никто. Я вон перед Михаилом не унижалась никогда, а он был отцом моего ребенка». Главное: «никто»! Может быть, такое чувство, как у Валентины, бывает раз в сто лет. А мать... Унижалась она там, не унижалась — можно еще подискутировать. Это не унижение — жить в одной квартире, через стенку, с человеком, который тебя бросил с новорожденной дочерью, привел в дом другую и на твою же кровать уложил? Валентина довоенные те времена

помнила слабо и, главное, знать тогда не знала, даже не догадывалась, что лысый дядя Миша, муж тети Шуры, жилец из соседней комнаты, где теперь Петрович,— собственный ее родной отец. Папочка! И чтоб он к ней, к дочке, хоть раз подошел! Не помнит она такого. Пройдет мимо по коридору, снимет у своей двери галоши, шляпу, на Валентину, если попалась навстречу, даже не глянет. Тетя Шура, та все конфетки совала, дешевенькие, леденцы. А Валентина ее все равно терпеть не могла — уродина. Толстая, ноги, как тумбы, зад широкий. Жаба. Как-то тетя Шура была на кухне, картошка у нее там пригорала на примусе, а Валентина тихонько вошла в комнату и плюнула ей в тарелку. Прямо в суп!.. И ведь только во время войны узнала, что на эту коротконогую бочку, на серость безмозглую папаша променял ее мать. Узнала и поразилась — мать тогда красавица была, тоненькая, с длинной косой, распустит волосы — до самого пола упадут. Носила крахмальные блузки с мережкой, воротник стойкой, а под горлом брошка, камея. Эту камею даже во время войны, в блокаду, сохранила, носила до последнего дня.

Семейную тайну Валентина узнала, когда ей было почти девять лет, в Томске, в эвакуации, на родине матери. Мать осталась в Ленинграде — как же! — без нее враг не будет разбит, победа не будет за нами! Валентину, маленькую, отправила с чужими людьми в Сибирь к сестре. Валентина потом не раз упрекала: «Никогда ты обо мне не думала, отослала одну на край света. Ну кому, скажи на милость, ты была здесь нужна?» «Кому?! Стране. Моей несчастной стране». И бровь подымет. То патриотизм — прямо передовица газеты «Правда», а то... Как-то звонит Валентине на работу, в исполком: «Читала сегодня? Наш бровеносец в потемках сам себя новой звездой наградил. Не то пятой, не то шестой». Валентина, конечно, вне себя бросила трубку. Вот так: с одной стороны — Россия, несчастная Россия, с другой — они. Те, что искалечили, загубили страну, растлили людей... слушаешь,— и мороз по коже. Хоть вой. И как она с таким языком уцелела — просто чудо!

Короче, тогда в войну, в Томске, Валентина как-то подслушала разговор. Случайно — тетка с подругой уверены были — она спит — и тут выясняется, что лысый сосед дядя Миша (его уже тогда на свете не было), так вот он — ее отец, женился на матери здесь, в Томске, потом они переехали в Петроград, и там он мать бросил.

«И чем же ему ваша Ирочка плоха была?» — изумлялась теткина подруга. «Да трясся всю жизнь как овечий хвост,— сказала тетка брезгливо.— Мы ведь, как тебе известно, из дворян, папа к тому же у Колчака служил, хоть и недолго, умер от сыпняка. Ну-с... А Михаил боялся. Шуретту свою выбрал исключительно за пролетарское происхождение. И, представь, прогадал: началась война, голод, и она, разумеется,— в деревню, а наш герой — к Ирине, в ноги упал: отправь в эвакуацию со своим заводом. Как родственника. Ирочка писала: так умолял, даже плакал».— «А почему его не мобилизовали?» — «Белый билет».— «И что же Ирина?» — «Записала, да поздно — взяли его в ополчение, хоть и аритмия, там и убили».— «Сумасшедшая! Такое — простить?! Да я бы своими руками, а она — спасать...» — «Сумасшедший-то как раз был он. Типичная мания преследования. Все ждал, что вот-вот заберут, а кому он нужен? Сам-то из мещан. Подумай — Ирину первым делом заставил все серебряные ложки отнести в торгсин».— «Ложки?!» — «Ну как же! Они же наши были, фамильные, с монограммой. Боялся буквально всего... До потери сознания. А Ирину, между прочим, не тронули. Есть все-таки Бог!.. Да... Дрожал, дрожал, а как Валюша родилась — вдруг развод».— «Я одного не понимаю: зачем Ирина его к себе в квартиру пустила с этой кулемой?» — «Так это же квартира его покойного отца, кустаря. А Ирина вообще — на птичьих правах. Ведь это тридцать четвертый год, вспомни, весь Ленинград — под метлу...» — Тут тетка перешла на шепот, и сколько Валентина ни вслушивалась, поняла только, что мать отдала этому ничтожеству лучшую комнату.

Потом, уже взрослой, не раз думала, да и от матери не скрывала, что из-за кретинского благородства теперь задыхаются вдвоем в тесной клетушке, заставленной — сил же никаких! — допотопным барахлом. Но, если уж мать так боялась, что вышлют — бред шизофренический, антисоветский, всех, что ли, подряд высылали? — но уж если боялась, спрашивается: комнату зачем отдавать? Не все ли равно, откуда тебя вышлют — из большой комнаты или из маленькой? Или думала: не отдаст комнату, так папочка с новой рабоче-крестьянской женой побежит доносить, что здесь социально чуждый элемент?

В результате даже когда Шурку устроили наконец в богадельню, хорошую комнату получил чужой, Петрович, а мать как сидела в своей норе, так и осталась... До смерти. Сама-то Валентина, слава Богу, уже к тому времени переехала.

Когда она в сорок пятом вернулась в Ленинград, мать с толстухой Шуркой жили душа в душу, одной дружной семьей. Шурка перешивала для Валентины свои довоенные платья, пекла на всех блины из коммерческой муки, по вечерам вместе пили чай. Одним словом, идиллия. Как-то Валентина не удержалась: «Как ты ее, жабу, можешь видеть? Она у тебя мужа отбила, а ты...» — «Господи, да какое это все теперь имеет значение. Несчастная, одинокая женщина. Она ведь его, представь себе, любила... Я — тоже... Он, в сущности, был неплохой человек... слабый только. А время тогда... Да нет, тебе не понять, вот вырастешь...»

Выросла. А понять отношения матери к отцу и его Шуретте (так ее почему-то всегда называла в Томске тетя Таня) не смогла. Можно быть добрым, но добреньким, как мать,— просто глупо. И безнравственно! Вот папашу-то как раз понять легче: быть женатым на дочери белогвардейца — радости никакой. А, с другой-то стороны, каким местом думал, когда женился?

Он, видите ли, не виноват, бедняжечка, всё — они: сломали человеку жизнь, искалечили психику. Они! Они! И — на весь дом. А попросишь не кричать, тут же: «Да в тебе-то он откуда, этот страх? Неужто гены? Но ведь Михаил от природы вовсе не был трусом, а то, что убили в людях все человеческое».

Ну, ладно — отца, в самом деле любила когда-то. А дружба с Шуркой? Ухаживать, когда ту разбил паралич, гонять к ней в эти проклятые ПНИ Валентину. Отъездилась. Не было в ее жизни ни папаши, ни Шурки... А теперь уж и... Ладно.

...С той самой ночи в Томске Валентине всегда хотелось забыть, что она — не как другие. Наверняка ни у кого в классе нету дедушки-контрреволюционера. Если только узнают... А может, подойти к учительнице, честно признаться самой? Но признаваться было страшно до обморока...

Поступила в финансово-экономический институт, сидела над анкетой — всю колотило: что писать в графе «происхождение». Спросила у матери, а та: «Успокойся,— из служащих. Боже мой, что сделали с людьми...»

...Но почему это все лезет в голову именно сейчас? Валентина брела по пустому тротуару, но чем ближе к дому матери, тем все медленней, медленней...

На дорогу ушел почти час. Валентина стояла у подъезда, откуда девять лет назад, счастливая, переезжала на новое место жительства. Век бы ей, конечно, не видать отдельной квартиры, да еще в центре, если бы не работа. Мать никогда не скажет «работа», всегда — «эта твоя государственная служба», а то еще «синекура», «кормушка для «слуг народа». Несет где попало и при ком попало. Особенно при Петровиче. А что о нем известно? Что пенсионер, вдовец? А он, между прочим, проговорился, что когда-то был участковым милиционером. Такие до самой смерти бдят.

Девять лет назад Валентина была уверена: уж теперь-то она устроит личную жизнь. Одна! Свободная! Не старуха! Подумаешь — под сорок, еще не вечер. Лучшие годы, конечно, загубила мать — не специально, просто — своим характером и длинным языком. Да ничего! Как поет Бернес: «Все еще впереди, все еще впереди!»

...Куда они ухнули, эти девять лет? Было под сорок, стало — под пятьдесят. Правда, последний год был особенный, необыкновенный, появился наконец у Валентины дорогой человек Пашка... кукленок, так про себя его называла, вслух не выговоришь... А все, что до него было, и вспоминать стыдно, глупости одни от одиночества. Да и сволочей много среди мужиков, сперва кажется — порядочный, а приглядедась: ему, голубчику, ленинградская прописка нужна. С квартирой. Чтоб потом развестись, жениться на молоденькой, а площадь разменивать. Знаем таких, родной папочка на всю жизнь научил.

Зато Павел — это настоящее, и нужна ему была сама Валентина, а не квадратные метры. В каком качестве нужна — это уже другой вопрос, Валентина и сама тащить его в загс не собиралась, зато получила счастье с большой буквы. Чудо. И чудо это было в ней самой, в душе... Через три часа она ему позвонит, смерть матери отнюдь не предлог, она обязана поставить его в известность, он все поймет, чуткий мальчик. А тогда и ссоре конец. Кто же решится оттолкнуть женщину, у которой такая утрата?

...Лифт не работал, пришлось тащиться пешком на пятый этаж. Отпирала дверь, все еще надеялась — может, не ушел Петрович. Зря надеялась — смылся-таки.

Почему-то ждала, что в квартире обязательно будут какие-то... следы, признаки: разгром, сдвинутая мебель, истоптанный пол. И резкий запах лекарств. Или еще что-нибудь такое — зеркало в простыне, распахнутые окна. Но в прихожей и в кухне все, как обычно. Чисто, тепло, пахнет скипидарной мастикой. На вешалке зимнее пальто матери, внизу на квадратике из клеенки — сапоги. Дверь в ее комнату плотно закрыта, к Петровичу тоже... Не мог дождаться, старый эгоист. Валентина беспомощно посмотрела на телефон: если бы прямо сейчас до того, как она войдет туда... Но домой Павлу никогда не звонила, он даже номера не дал: матушка переживает, если женский голос, а на работе его еще нет.

Первое, что она увидела, когда переступила наконец порог, была кровать матери. Пустая. Застелена простыней. Может, Петрович плохо объяснил и они, из «Скорой», забрали?.. Но едва занявшееся чувство облегчения тут же пропало: оно... было здесь. Мать лежала на диване, с головой укрытая одеялом. Наружу торчали только босые ступни. Желтые. Валентина выскочила в прихожую, захлопнула дверь, села на табуретку возле тумбочки, где стоял телефон.

Зачем она сюда пришла? На часах без пяти шесть, поликлиника, где, Петрович сказал, надо брать какую-то чертову справку, откроется не раньше восьми. А до... до того как можно будет звонить Паше — и вообще целых три часа. Могла лежать дома, в собственной постели, спокойно собраться, выпить чаю — впереди тяжелый день. Сорвалась. Примчалась. Ну, и что делать? Что вообще полагается делать в такой ситуации? Рыдать у тела?.. С похоронами, допустим, помогут на работе, бегать по инстанциям да сидеть там в очередях не придется, разве что — свидетельство о смерти, а так — кто надо позвонит кому надо, на Пискаревку Валентина не претендует. Ну, а пока, в данный момент, чем она должна заниматься?!

Было жарко, казалось, что разбухает все лицо — тяжестью наполнялись веки, лоб, губы. Лечь бы, закрыть глаза... Где? Там?

До половины восьмого Валентина промучилась в прихожей на табуретке. Рядом забрякал телефон. Бледные, точно не в фокусе мысли текли, захватывая и волоча за собой ненужный мусор: заплатила ли мать за квартиру? Кому отдать ее платья? Где камея? Несколько раз она задремывала, но тут же вздрагивала и открывала глаза. На часах все то же.

...Если бы Паша был рядом... если бы все — как раньше, как год или даже как три месяца назад, до того как Валентина затеяла эту историю... А ведь только добра ему хотела, знать бы... Все равно сегодня она услышит его голос, а может... Может, и увидит его... Господи, какое бы счастье!..

Без двадцати восемь Валентина тяжело поднялась, разминая затекшие ноги, и только тут поняла, что все это время просидела в шубе и сапогах.

В поликлинике началась беготня — из справочного на третий этаж в кабинет участкового врача, тут же обратно, вниз, в регистратуру за карточкой матери, пока носилась да ждала регистраторшу, пока та, амеба, едва шевелясь, искала карточку, у кабинета — готово дело! — очередь, сидят на стульях вдоль стены с непреклонно-угрюмыми лицами. Почему в очередях всегда такие лица? Вот и у них, в исполкоме... Валентина деловито прошла прямо в кабинет врача, даже не взглянув в сторону очереди, как обычно проходила на работе в кабинеты своих коллег. Ее не остановили: народ у нас умеет разбираться, кого останавливать, кого — нет.

Молодой врач, сидя за столом, лениво раскладывал какие-то бумаги. А между прочим, люди ждут! Холеный, модная стрижка, пахнет дорогим одеколоном. А на стуле портфель, тоже не из дешевых. Слишком все шикарно для простого участкового врача. Наверняка имеется частная практика... Молод, правда, но сейчас — сколько угодно, из молодых, да ранние... Налога, конечно, не платит. Подпольщик. Все это Валентина отметила про себя в одну секунду: «Наш контингент». Это сразу придало ей уверенности, и, не сказав ни слова, она положила на стол карточку и тот листок, что оставила ночью «Скорая».

— Умерла? — удивился врач, пробежав листок глазами.— Надо же... А я как раз сегодня собирался...

Вдруг покраснел и начал оправдываться, что-то объяснять: мол, вызов поступил позавчера, но было никак не успеть, столько больных, а он сейчас замещает, так что на двух участках...«Еще и замещает. Ну жук...» — удовлетворенно подумала Валентина.

...А ведь мать не говорила, что еще позавчера вызывала врача... Хотя нет, как раз вчера и сказала: «Я в ужасном состоянии, Иван Петрович звонил в поликлинику, теперь явятся через неделю — старикам везде у нас почет, рады бы всех уморить, чтобы пенсию зря не выплачивать...» Не станешь же доказывать, что — да, пенсионеров у нас много, катастрофически много и это большая нагрузка на бюджет...

— Пишите справку,— напомнила Валентина врачу, снова подумав, что для этого пижончика районная поликлиника только отмазка, способ «отмыть» левые деньги. «Врач». Рвач. Надо бы позвонить в Петроградский райфо... Выйдя из кабинета, взглянула на табличку на двери: КОВАЛЕНКО А. П. Хохол.

В страховом столе губастая старуха с симметрично расположенными бородавками на обеих щеках поставила на справку печать и вручила Валентине бумажку с номером телефона, по которому нужно звонить, чтобы приехали.

— Кто?.. Куда?..— не сразу поняла Валентина.

— За телом. В морг,— картаво отрезала старуха. Из бородавки противно торчал толстый седой волос.

«Роботы какие-то все, сволочи. Ни сочувствия к человеку, ничего... Хоть бы для вида. Называется: «Советская медицина самая гуманная в мире»,— а тут что врач, что эти... Валентина вдруг поняла, что рассуждает точь-в-точь, как мать. Та, бывало: «Самая бесплатная в мире». Но ведь совершенно с другой позиции! Да, у нас полно недостатков, но надо не злорадствовать и клеймить, а бороться. Вот с такими. Чтоб был порядок! Валентина-то как раз и борется, выводит на чистую воду всякую подпольную мразь. А как лебезят, крутятся. Сколько раз пытались взятки совать, другая стала бы миллионершей. А Валентина так шуганет, что не обрадуешься! Не то что некоторые... Вот хоть Липатова — зарплата не больше, чем у всех, а вечно у нее то французские духи, то конфеты. Это еще мелочи, а покопаться... Да разве она одна? Удивительно, как люди не боятся, тут бы ночей не спала.

До конторы, откуда присылают спецтранспорт, Валентина дозвонилась с первого раза. Равнодушно-вежливый голос пообещал, что приедут до двух часов. «Но — в любое время, так что будьте дома. Приготовьте простыню и бинт...» При чем здесь бинт?..

В квартире по-прежнему тишина, дверь, как она и оставила, на одном замке. Не приходил Петрович. А что скажешь, каждый на его месте точно так же...

Теперь Валентина не спеша разделась, повесила пальто, сняла сапоги, оставшись в чулках. Тапки в комнате, мать зачем-то всегда прячет в шкаф. Пусть.

Перед тем как позвонить, причесалась. Медленно, чтобы не срывался палец, набрала номер. Знала уже, как скажет — без истерики, с чувством собственного достоинства, но чтобы сразу понял, какое у нее горе. Длинные гудки. Это ничего не значит — утро, начало дня, у него там народу полно, может, и трубку взять некогда. Гудки... А скорее всего вышел — вызвали к директору... Конца им нет, этим гудкам, точно идешь мимо длиннющего забора, и все столбы, столбы...

Валентина нажала на рычаг. Пошла в кухню. Попила сырой воды. Вернулась к телефону, опять гудки, видно, уж сегодня день такой — ждать. И не уйдешь, в любой момент могут приехать... За... за телом. Все-таки придется идти. Туда.

В комнате Валентина пробыла не больше двух минут. Не глядя в сторону дивана — все равно видно... и эти ступни...— выдернула из комода ящик, схватила то, что лежало сверху, прошла к платяному шкафу, где мать держала аптечку, взяла бинт. На стуле у кровати лежала одежда матери — аккуратно сложенный халат, белье. Рядом, на столике,— брошка, камея. Валентина положила брошку в карман. Хорошо еще, Петрович раньше не углядел...

В прихожей выяснилось — взяла вместо простыни пододеяльник. А! Не назад же идти!

Стараясь успокоиться, набрала номер. Гудки.

Кружилась голова — от нервов. А может быть, от голода? Не завтракать же здесь!.. Надо подождать минут десять, а тогда попробовать еще... А ведь поначалу хорошо у них с Павлом было всего месяц, не больше. Это когда он чуть ли не ежедневно звонил, встречал после работы, и они пешком отправлялись к ней. Валентина запирала дверь на задвижку, телефон уносила в кухню... Вспомнишь, даже сейчас озноб! Ни с кем так не было. Паша не верил, смеялся: «Прямо уж «ни с кем» — это с твоим испанским темпераментом! Заводишься с полоборота». А Валентина раньше и не знала, что у нее какой-то особенный темперамент. Почему-то с другими была холоднее, а тут дала себе волю. Последняя любовь... Тем более видела: Павлику это нравится. Она, бывало, застонет, а ему лестно: «Терпи, коза, а то мамой будешь!» Сама все испортила — стала говорить про чувства: мол, люблю, не могу без тебя и все в этом духе. В первый раз он выслушал, приподнялся на локте, закурил. Потом спрашивает: «Ну, а я что здесь могу сделать?» Это был ответ, ей бы замолчать — нет, залепетала: ей, мол, ничего не надо, она понимает — старше его на двенадцать лет, просто любит, любит... Отвернулся, стряхнул пепел прямо на коврик. Сказал, что у Эриха Марии Ремарка в книге «Три товарища» есть одно место: женщина никогда не должна говорить о своей любви. Резко сказал, Валентина сперва даже обиделась. Зря — это у него не грубость, просто такой голос. Командный. Привык на работе, все же начальник большого цеха. В тридцать шесть лет! А великосветским манерам обучаться негде, и это Валентине в нем, может быть, больше всего и нравилось. Простой. И родители оба рабочие. И сам на завод не с дипломом пришел, а из ПТУ. Поработал, в армии отслужил — назад. Поступил в институт на заочный, на четвертом курсе сделали заместителем начальника цеха, а еще через два года — начальником. Трудовая биография. Это тебе не дедушка штабс-капитан. С матерью не знакомила. Той бы он не понравился, это уж точно, Валентине без разницы, но ведь мать бы молчать не стала, опять — повод для ссоры.

Валентину в Павлике все восхищало — и внешность, как с плаката,— лицо волевое, твердое, фигура статная; и голос, от которого она обмирала, даже если слышит по телефону. И шутки, пусть даже грубые, зато... пикантные. В тот день, когда познакомились, провожал Валентину домой и сказал: «Женщины делятся на три группы: «дам», «не дам» и «дам — но — не — вам». Вы к какой группе принадлежите?» Конечно, дерзко, но оба тогда выпили... А познакомились совершенно случайно — на дне рождения у одноклассницы. Та одинокая, с мужем разошлась, собрались одни женщины, только сели за стол, а тут — темно, перегорели пробки. Именинница побежала за соседом. Пришел, поставил «жучка», свет зажегся, а он: «О-о, какие люди! Мне идти или можно присесть в цветник?» Усадили за стол, как раз возле Валентины. Потом он пошел ее провожать и остался до утра. И целый месяц было счастье. Если бы она не портила! После первого раза, после Ремарка, слово себе дала — молчать как партизан. А обнимет — и опять: «Люблю, не могу, что ты со мной делаешь, масенький мой, зайка...»

Сперва приходил часто, потом все реже, реже. В основном по пятницам, но не каждую неделю — появились дела, то друг к нему из Харькова приехал, однополчанин — служили вместе, то у матери день рождения, надо за подарком. Пожаловался: «Не знаю, что дарить — шестьдесят лет, дата». Валентина встрепенулась: «А что ей нужно? Что она любит?» — «Она у нас не балованная, всему рада. А нужно... Ей бы тапочки, знаешь, такие меховые, у нее ноги мерзнут, закупорка сосудов, что ли. Да где найдешь?»

На другой же день Валентина связалась с девочками из торга и получила информацию: в Ленинграде ничего нет и не предвидится. Бывают в Архангельске, вообще — на Севере.

Хорошо, до дня рождения больше двух недель, успели дозвониться до Архангельска, и оттуда выслали наложенным платежом две пары. Одну пришлось отдать в торг, да плюс к тому еще купила им в «Метрополе» набор «Ленинградский», а вторую взяла себе. Паше, конечно, до поры до времени — ни слова, а за три дня до юбилея позвонила: «Приезжай». Деньги он, конечно, сразу выложил, заставил взять. Изумлялся: «Где достала?» А Валентина: «По щучьему веленью, по твоему хотенью. Нет, правда, все могу, не веришь? Как Хоттабыч».

С тех пор, стоит ему только обмолвиться, мол, что-то нужно, Валентина достанет из-под земли. У нее даже азарт появился, как-то сказала: «Захочешь луну с неба — получишь. Нет, серьезно, маська!» А он был, как нарочно, в плохом настроении. Поморщился: «Тоже мне Хоттабыч. С тобой опасно, ты как бульдозер. Того гляди задавишь». А сам через три дня прибегает: «Отец заболел, давление ничем сбить не могут, нужно заграничное лекарство, а его нигде нет». Валентина молча обрадовалась — в аптекоуправлении надежно. Взяла у него рецепт, спокойно сказала: «Не обещаю, но попробую». Когда достала лекарство (действительно, в аптеки оно даже не поступало, только в Свердловку), Павлик был просто поражен, Валентину расцеловал прямо на улице. И тотчас без слов поехал к ней. Мать как раз весь вечер названивала,— то одно, то другое. После второго звонка Валентина перестала брать трубку. Потом, конечно, получила весь набор: и «температуру сорок», и «одинокую старость», и «потом будешь жалеть, да поздно». Ничего, выслушала, не умерла — за все нужно платить.

Как-то в конце октября Павлик пришел расстроенный: «Директор, козел, зажал, как обычно, премию по новой технике. Точно не цеха программу дают, а банда прихлебателей — главный технолог с начальником производства, главный механик да главный экономист со своими дармоедами. Гольдберг, главный технолог, вообще в любимчиках, надо не надо, а шесть окладов в год в виде премий вынь-положь.

— Гольдберг — это понятно,— перебила Валентина.— Главбух кто у вас?

— Нигматуллин. А тебе зачем?

— Да так...

Ясненько, что там у них за компания, жулик на жулике. Директор, Паша говорил, тоже... какой-то Лукницкий. Мафия... Ладно... А недооценивает кукленок своего Хоттабыча!..

Перед самыми праздниками опять встретились. Он отговаривался — нет настроения, устал, как пес, да и некогда. Валентина нажала: «Надо переговорить, есть важные новости». Разозлился: «Вечно у тебя события мирового масштаба. Какие еще новости?» «Не волнуйся, ребенка не жду... Нет, по телефону нельзя...»

У самой, кроме новостей, припасен подарок, два блока БТ, опять пропали в городе, взяла в буфете, все забрала, что было, уломала Лидку-буфетчицу. Недавно сделала интересное открытие: если просит что-нибудь для Павлика, никто никогда не откажет. Только посмотрят в глаза и согласятся.

Ждала его у входа в метро, нагрузилась, как верблюд: в одной руке сумка с праздничным заказом, в другой — вторая с сигаретами.

Пришел хмурый, опоздал на двадцать минут, раньше такого не бывало. И даже не извинился. Спросила:

— Почему не в духе? Кто обидел мальчика?

Дернул ртом:

— Выкладывай свои новости, спешу.

Валентина так ласково, тихонечко:

— Опять что-нибудь на работе?

— Ну а где еще?

А она еще ласковее:

— Ничего, маленький, потерпи, скоро все твои гольдберги запрыгают. Вместе с директором. Учить таких надо, сто раз пожалеют, что мухлевали с премиями.

Уставился на Валентину, даже рот приоткрыл. Погладила по щеке:

— Что смотришь, глупышка? Не верил, что Хоттабыч все может? Скоро убедишься. Пусть ваши голубчики готовятся, сушат сухари. КРУ к вам направили.

Он аж вспотел, стащил шапку, вытирает лоб:

— Та-ак... Это... значит, ты?! Да ты... Да кто тебя просил?!

— Тебе-то что нервничать? Ты цеховик, дело делаешь, а банду вашу, сам говорил, давно пора потрясти. На чистую воду! Ведь твоими же руками, дурачок, жар загребают. Я по своим каналам узнавала — у вас там тако-ое...

— Ну... мать твою... Да ты соображаешь, нет? Теперь же всех начнут трясти. Подряд. Все перелопатят! С меня — за каждый наряд, за сверхурочные... ч-черт! И на хрена ты... Обрадовала: «Пусть они гото-овятся!» Явились уже из твоего контрольно-ревизионного змеюшника, пожаловали. Подарок к великому празднику.

Валентина давай утешать:

— Ты-то зачем нервничаешь? Кто честно работает, тому бояться нечего, уж я знаю. Все будет тип-топ, я прослежу. Ну, улыбнись, слышишь?

Как с ума сошел. Обругал нецензурно, раньше никогда себе не позволял, а тут кричит:

— Ну, чего полезла не в свое дело? Прилипла, как смола, лезет и лезет. Просили тебя? Вечно без мыла в жопу! Все! Спасибо за радостную новость, я пошел.

Валентина его — за руку:

— Паша, да постой же ты! Детонька, я ведь — только хорошего... ну постой, у меня, вот, два блока для тебя... твои любимые...

Он руку вырвал, повернулся — и в метро. Догонять не побежишь...

Все праздники Валентина пролежала дома, одна. Матери по телефону сказала: «Грипп». Сама ждала — вдруг одумается, придет. В первый же рабочий день стала звонить в горисполком, в контрольно-ревизионное управление, там у нее знакомая, Живцова Наталья. Вместе когда-то начинали на радиозаводе в бухгалтерии. Через Наталью и удалось организовать проверку у Павла на заводе. Валентина зашла тогда к Живцовой по другому делу, а потом, к слову, сказала: мол, говорят, на таком-то заводе черт-те что... В общем, займитесь, советую. Наталья кивнула: «Слыхала, были сигналы...»

А теперь, когда Валентина позвонила узнать, в чем там дело, Живцова вдруг насторожилась: «Тебе почему интересно?» Валентина: «Да так просто...» «Ну, мать, просто так ничего не бывает, не темни. Короче, подробностей сказать не могу, а наши там уже вовсю». Через неделю звонит сама: «На том твоем заводе накопали — страшно, аж жуть! Вызвали пока народный контроль, а они потом, возможно, и ОБХСС».

Вот тебе и на! Но, с другой-то стороны, какие в цехе могут быть такие уж финансовые нарушения? Тем более Павлик не тот человек, чтобы чужую копейку в карман положить. Позвонила ему, разговаривать не стал: «Занят» — и трубку бряк. Видно, задергали парня проверками. Побежала к своим, кто имеет дело с предприятиями, сама-то всегда — только с частниками: репетиторство, фотографы разные, врачи, все больше Вени Рологи и Гени Кологи... Сволочи! Тут юбку протираешь за гроши, а у них — в день по тысяче, да еще норовят закон — вокруг пальца... И вот такое жулье процветает, наживается, а Павлику, трудяге, треплют нервы. Побежала, давай расспрашивать, какие на производстве бывают нарушения, допустим, в цехе? Растолковали все подробно, оказалось: если ты, конечно, жулик, то и в цехе можно понаделать дел — тут и приписки, и «мертвые души», и, когда оформят кого-нибудь, хоть собственную тещу, по совместительству, она не работает, а деньги получает и тебе отдает; и с рацпредложениями можно мухлевать будь здоров, да и взятки... «Взятки?! За что в цехе — взятки?!» Смеются: «Да за что угодно: за фиктивные наряды, за липовую премию, за внеочередной отпуск...


Рисунок Левона ХАЧАТРЯНА

А то — от заказчиков, чтобы их заказ — вне очереди, мало ли...» Да-а... И все же тут волноваться нечего, у Павлика подобного быть просто не может. Не тот.

Через несколько дней набралась храбрости, позвонила ему опять. И опять он сказал, что занят, говорить не может. Голос был не то что злой, а хриплый, как у больного. Спросила, как со здоровьем, еще фразы не закончила, а он уж и трубку повесил, не дослушал. Бедненький, лапка... Да, наделала дел, и верно, полезла, как бульдозер. А главное, назад не раскрутишь, КРУ — служба серьезная. Тем более ОБХСС. Сунулась было опять к Живцовой, а та уже и слова еле цедит, как с посетителем: «Никакими сведениями не располагаю». Сволочи все. Как почувствуют, что человек от них зависит, сразу хамить.

Еще подождала, мучилась ужасно — ночью не уснуть, а днем все время себя за руки хватала, чтобы не набрать его номер. А когда не выдержала, голос у него был совсем странный — еле слова выговаривает. Злился б, так бросил бы трубку или послал подальше, а тут говорит чуть не шепотом, точно чего-то боится. Только и добилась: «Не могу. Не звони, освобожусь, сам позвоню... если освобожусь...» И хмыкнул. Нехорошо как-то...

Вот тогда уж Валентина всерьез перепугалась. Ведь этого мало — быть честным, могут запросто подставить, у нас это умеют — «стрелочника» найти! Потом кое-как себя успокоила: было бы что серьезное, к ней бы за помощью и обратился, к кому же еще? И опять ждала день за днем, и дома, и на работе. Измучилась вконец и вот сегодня имеет полное право напомнить о себе. Полное право! Смерть матери — это вам почище любого КРУ...

Резкий звонок в дверь заставил Валентину вздрогнуть — забыла, где она, почему, кого здесь дожидается.

Звонок повторился. Вскочила, побежала открывать, у самой пальцы трясутся, еле замок отперла. Вошли двое парней в белых халатах, оба почему-то с бородами. Сразу: «Куда?» И — в комнату с носилками, а Валентина следом. Стараясь не смотреть в ту сторону, молча подала пододеяльник и бинт. Один из парней сразу начал возиться с дверью, открыл вторую створку, другой остановился у дивана, повернулся к Валентине:

— Снимите одеяло.

Если бы она успела, если бы уже переговорила с Пашей! Тогда и силы нашлись бы, тогда — ничего не страшно, справилась бы. А сейчас.

— Пожалуйста, очень вас прошу, сделайте... что надо сами, не могу...— пробормотала Валентина, протягивая скомканную, потную бумажку и слыша в собственном голосе жалкое позвякивание, знала эту интонацию, сто раз слышала в своем кабинете от населения.

Парень взял деньги как должное, кивнул, и Валентина тотчас выскользнула из комнаты. Встала у двери в кухню, прижалась к косяку, а сердце колотится, колотится — скорей бы они там!

Вскоре они тяжело протопали мимо, крикнув на ходу, что тело везут в морг крематория, еще про какой-то документ, что оставили в комнате. Она не поняла, стояла, вся съежившись. Дверь наконец-то захлопнулась, а она все не могла двинуться с места и только тогда вздохнула, когда внизу заурчал мотор. Уехали. И вдруг как ударило: крест! Серебряный, с пробой! Мать его никогда не снимала. Теперь все, эти мужики, конечно, украдут, уже украли. Вещь дорогая, старинная... А может, Петрович первым успел? Эх, Валентина... все тебя, кому не лень... Вот и об этом надо будет рассказать Павлику — обобрали. И вовсе не из-за того Валентина так расстроилась, что дорогая вещь, а потому, что последняя память о матери — вот в чем дело. Утрата за утратой!

Валентина бросилась к телефону, решительно набрала номер. На сей раз трубку взяли мгновенно, послышался треск, шум и, сквозь него далекое, еле слышное «алло».

— Паша! У меня горе! Несчастье! Мать скончалась! — закричала Валентина, боясь, что он не поймет, не расслышит.— Несчастье, Паша.

Треск внезапно прекратился, и незнакомый голос отчетливо произнес:

— Вас слушают. Кого надо?

Голос был тонкий, как у кастрата. Решив, что попала не туда, Валентина собралась было сразу нажать на рычаг да на всякий случай все же спросила:

— Можно Павла Владимировича?

Сказала уверенно, четко — с теми, кто мямлит, в объяснения не вступают.

В ответ помолчали. Потом осторожно поинтересовались, кто говорит. Если ошиблась номером, какого черта допрашивать?!

— Мне нужен Павел Владимирович,— отчеканила Валентина.— Говорит его сестра. Из Минска.

Про Минск сказала для убедительности. И еще добавила:

— По срочному делу. Случилось несчастье.

— Несчастье,— повторил кастрат, опять помолчал и уже твердо: — Павел Владимирович здесь больше не работает.

— А... а где? Как позвонить? Позвонить — куда? — опять закричала Валентина, понимая: вот сейчас этот гнусавый болван положит трубку.

— Позвонить... Раз несчастье, обратитесь к его родителям, а... в «Крестах» к телефону не приглашают.

И — гудки.

Валентина не слышала, как вернулся Петрович, не чувствовала, как он поднял ее, отвел, поддерживая за плечи, к себе, усадил на тахту. Пока бегал на кухню за водой да капал валерьянку, она опять сползла на пол, опять кричала и билась головой о паркет.

Он опустился рядом на колени, гладил по спине, пытался напоить да только расплескал воду. Все приговаривал:

— Ну — чего? Что теперь? Вечно никто не живет, даже, значит, в правительстве... Брежнев вон еле ноги... смерть — она не спросит... и виноватых нету, чего душу рвать?.. Я вон тоже схоронил жену... если честно, всякое бывало, а живу... Ну, чего ты? Ну, горе, мать потеряла, каждый поймет — ближе матери никого не бывает, тут, брат, такое дело, а казнить себя не за что...

Валентина вырывалась, мотала растрепанной головой, царапала себе лицо и, страшно скалясь, уже не в силах кричать, хрипела:

— Сволочь... сволочь... сволочь...

Леонид РАДЗИХОВСКИЙ



ПЕССИМИСТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ

Некоторые журналисты (в частности, Сергей Пархоменко и Татьяна Иванова) заклинают наложить мораторий на разговоры о Жириновском. Они резонно замечают, что каждая новая ругательная статья только работает на новоявленного лидера либералов, создает ему рекламу. Так, видимо, думает и сам Владимир Вольфович, хорошо понимающий главный принцип политической рекламы: говорите обо мне все что угодно, только фамилию пишите правильно.

Полагаю, однако, что писать о Жириновском нужно. Было бы слишком самонадеянно думать, что его можно замолчать. Поздно! Он уже вырвался «на оперативный простор», имя и образ запомнились, и теперь даже гробовое молчание демократической прессы не изгладит Жириновского из памяти сограждан. Поэтому есть резон трезво обдумать этот феномен. И еще одно. Вполне возможно, что Жириновский вскоре исчезнет так же неожиданно, как возник. Но — свято место пустым не останется...

Одна из выигрышных особенностей Жириновского — идеальное совпадение формы и содержания. Если бы его же лозунги произносились неспешно, тихо, раздумчиво или, наоборот, если бы с *его* же мимикой, с *его* голосом, с *его* манерами нам сообщали бы некие неспешные, разумные, нормальные идеи, эффект был бы потерян. Здесь же мы имеем законченное произведение политического искусства. В одном из интервью его партийный соратник с полным цинизмом (нарочитым?) говорил, например, о том, как они «вычислили» бантик-бабочку, в котором их шеф явился на телеэкране перед своим ошалевшим избирателем. Макаренко, кажется, называл этот прием «перевоспитание взрывом». Именно так и старается воспитывать нас Жириновский. Тут сразу выстраивается такой мощный литературный ряд, что грех обойтись без цитат.

«Извольте, господа, я принимаю должность, я принимаю, говорю, так и быть, говорю, я принимаю, только уж у меня: ни, ни, ни!.. Уж у меня ухо востро! уж я...» И точно: бывало, как прохожу через департамент,— просто землетрясенье, все дрожит и трясется, как лист. *(Городничий и прочие трясутся от страха; Хлестаков горячится сильнее.)* О! я шутить не люблю. Я им всем задал острастку. Меня сам государственный совет боится. Да что в самом деле? Я такой! я не посмотрю ни на кого... я говорю всем: «Я сам себя знаю, сам». Я везде, везде. Во дворец всякий день езжу. Меня завтра же произведут сейчас в фельдмарш... *(Поскальзывается и чуть-чуть не шлепается на пол, но с почтением поддерживается чиновниками.)*»

А теперь такая речь: «Какая Литва? Какая Латвия? Что за Эстония? Знать не знаю! Должна быть одна Прибалтийская губерния в составе России, сюда же и Калининградскую область пустим». Это уже из Жириновского, догадались? Не успели в трех суверенных столицах опомниться, как пришел черед изумляться Финляндии — неугомонный либерал и ее пообещал вернуть назад, в Россию. Лихо, не правда ли? Позвольте еще одну цитату.

«Остап со вчерашнего дня еще ничего не ел. Поэтому красноречие его было необыкновенно.

— Да! — кричал он.— Шахматы обогащают страну! Если вы согласитесь на мой проект, то спускаться из города на пристань вы будете по мраморным лестницам! Васюки станут центром десяти губерний!.. Мои личные связи и ваша самодеятельность — вот все необходимое и достаточное для организации международного васюкинского турнира... Васюкинцы денег платить не будут. Они будут их по-лу-чать! Это же все чрезвычайно просто. ...

Остап вытер свой благородный лоб. Ему хотелось есть до такой степени, что он охотно съел бы зажаренного шахматного коня».

Что ж, в России жизнь всегда являлась экранизацией литературных сюжетов. А история о том, как «заезжий елистратишка», «ни се, ни то; черт знает, что такое» обдурил жителей «уездного города Н.»,— одна из типичнейших в русской литературе и истории. В спокойные времена — комедия, «ревизор». В «минуты роковые» — трагедия, Лжедмитрий.

Эта статья была написана незадолго до переворота. Нетрудно было предположить, как поведет себя на роковом перепутье для страны ревнитель тоталитаризма Жириновский — мало кто кланялся хунте так истово, так верноподданнически, так лакейски. Крах мятежников — отнюдь не капитуляция для Владимира Вольфовича и его присных. Они затаятся на время, они перекрасятся, как смогут, они найдут для сограждан новые словеса для старого обмана и оболванивания. И потому все так же опасны для каждого из нас.

Блок с его необыкновенной чуткостью писал незадолго до революции в стихотворении «Россия»:

Какому хочешь чародею
Отдай разбойную красу!
Пускай заманит и обманет,—
Не пропадешь, не сгинешь ты,
И лишь забота затуманит
Твои прекрасные черты...

Однако когда чародей действительно выпорхнул из запломбированного вагона и завороженная Россия отдала ему «разбойную красу», Блок понял, какой это ужас. Тут крах, разлом всей жизни. Ну а если сегодня повторится история с новым чародеем, то тут и вопроса-то не будет. Никто не рискнет уверенно утверждать, что без этого при нормальном развитии событий «Россия обязательно возродится!», но что после второй катастрофы, после политического Чернобыля этой страны уже не будет — тут, думаю, можно не сомневаться. Третьего смутного времени (второе было

в 1917—1920 годах) с ядерным оружием и полузагубленной экологией нам просто биологически не пережить.

Однако более или менее удачные параллели из Гоголя, Ильфа и Петрова, Достоевского (Петруша Верховенский из «Бесов») никак не могут заменить хоть какие-нибудь доказательства. Какие в самом деле у меня основания полагать, что угроза Жириновского реальна, что продлись избирательная кампания еще пару месяцев, и он мог бы выиграть? Не вернее ли иное рассуждение: наоборот, при сколь-нибудь долгой кампании он бы себя полностью разоблачил. Простейшие вопросы, от «так кто же ваш отец и почему вы скрываете его национальность?» до «вы предлагаете упразднить национально-территориальное деление СССР. А если — представим такой невероятный случай! — республики всетаки не захотят добровольно и с пением «Боже, царя храни!» самоупраздниться? Как быть тогда? Вести гражданскую войну по всей территории СССР?» — все эти вопросы уничтожают этого человека, ведь ответить-то нечего. Так что страшен сон, да милостив Бог!

И еще. Да, третье место, да, высокий процент голосов. Но во Франции есть Ле Пен, в Польше — Тыминьский и т. д. Даже в самой демократической стране есть такой процент, но он погоды там не делает. Так что не стоит и впрямь считать Жириновского неким «ревизором», закрывающим немой сценой русскую историю.

Конечно, эти соображения вполне успокоительны. Но, во-первых, перед нами тот случай, когда лучше в сто раз преувеличить опасность, только бы не проворонить. Как в известном анекдоте, когда мать, у которой змея укусила ребенка, успокаивают, что, мол, этот укус смертелен лишь в одном проценте случаев! Если бы у меня было 100 детей, меня это, может быть, и успокоило бы, отвечает она, но ребенок-то один! Если бы у нас было 100 жизней, 100 Россий, то и мы могли бы не волноваться. Но — увы...

Второе. Да, сегодня его пора не пришла. Но если завтра станет жить еще хуже, настолько хуже, что народ от обиды, отчаяния, злобы голову потеряет, тут-то и могут устремиться в пропасть, прямо за этим «всадником без головы». Все знают: инфляция, безработица, не говоря уж про голод,— родители всех фашистских режимов. В то же время все понимают, что эти условия у нас отчасти уже есть, а во всю силу могут развернуться в конце этого года. Так что питательный бульон для микробов готов. За микробами дело не станет!

Да, революция никогда не улучшает (и не может улучшить) жизнь массы. Все понимают, что от грабежей, погромов, всеобщего разора продуктов не прибавится. Прибавиться просто не может. Группа вожаков пограбит всласть, пока друг друга не перережут. Как говорил классический революционер, «джентльмен удачи» в романе «Остров сокровищ»: «Клянусь громом, мне до смерти надоел капитан! Довольно ему мной командовать! Я хочу жить в капитанской каюте, мне нужны ихние разносолы и вина». Но народу «ихние разносолы и вина» не только в рот не попадут, но и по усам не потекут. И, понимая это в глубине души, народ тем не менее идет бить, громить, ухудшать свою и без того худую жизнь. Почему?

А вот именно потому, что низы доведены, дошли, довели себя сами до такого отчаяния, злобы, ненависти, что... не могут жить по-старому. Их действия — это ослабленная форма группового самоубийства. Это похоже на состояние человека, который, чтобы заглушить одну боль, изобретает другую: ранит руку или что-нибудь в этом роде. Психологически революция — акт коллективного бешенства, отчаяния людей, выбитых из колеи, потерявших ориентиры и умело направляемых корыстными «чародеями» — вожаками, которые становятся уже вождями.

Именно такого развития событий боится интеллигенция. К счастью, сегодня того же боится и весь народ. Это ложь, что у нас, мол, нет исторической памяти и т. д. Наоборот, память очень крепкая. Сегодня (в отличие от того же начала века) нет ни единой группы населения, которая бы мечтала о революции,— все слишком хорошо знают, чем это обернулось для России! Поэтому все партии с поразительным единодушием выступают против «экстремистов», «необольшевиков», только адрес, по которому живут эти самые «необольшевики», все видят по-разному.

Однако как и борьба за мир, проводимая не так давно с немыслимым остервенением и размахом, едва не привела нас к войне, так и битва против революции вполне может стать ее же началом. Возьмем те же призывы Жириновского. Он против насилия, против беззакония, против революционеров, он же юрист, он твердо стоит на страже закона! Что же нужно сделать, чтобы обеспечить порядок, мир, спокойствие? Ну, скажем, «упорядочить» национально-географическое членение страны, вместо республик создать губернии и т. д. Вот простейший способ, как под лозунгом «Не допустим насилия!» развязать гражданскую войну. Есть, конечно, и другие пути, более изощренные...

Итак, объективные факторы есть (или скажем аккуратнее — могут быть). Ну, а субъективные? Есть такая партия? Насчет партии вопрос неясный. Если говорить о ЛДП Жириновского, то понятно, что никакой партии тут нет. Но опять же вспомним большевиков. Их историю от 1898 по 1917 год вполне можно опустить. Все их теоретические споры, склоки, расколы, дележку награбленного и полученного «по наследству» можно оставить за скобками. Для дальнейших судеб партии это имело меньшее значение, чем высота балкона во дворце Кшесинской. Партия выросла за один год, верней за полгода, с апреля по октябрь 17-го, в основном за счет людей, не слишком отличавших эмпириокритицизм от эксгибиционизма и даже не подозревавших, что же там Маркс написал Кугельману...

Так и с ЛДП. Какое имеет значение, что они там у себя решили в марте 90-го на своем «учредительном съезде»? Ну, нет в их программе слова «губернии», зато есть республики, из которых должен состоять Союз, граждане которого не должны указывать свою национальность... Жириновский легче легкого перечеркнул все эти пункты, вписал вместо них другие, а завтра будут третьи... Да разве в программах дело!

В чем же?

Секрет этих словесных фокусов уже ни для кого не секрет. Л. Фейхтвангер, на своей шкуре узнавший, как действует «техника расчеловечивания», неплохо изложил азы фашистской пропаганды: «Сила этой клики как раз в том, что она пренебрегает разумом и обращается к инстинкту. Нужна сметливость и сила воли, чтобы проводить подобную линию с такой последовательностью. Господа эти, как все хорошие дельцы, отлично знают свою клиентуру. Товар у них плохой, но ходкий».

Я бы, пожалуй, отметил еще одно — гениальную, ошеломляющую простоту лжи. Когда читал про Гитлера, всегда удивлялся: откуда такая прямота? «Чем невероятнее ложь, тем больше веры в нее». Это же надо так сказать! И после этого за тебя продолжают голосовать, тебе продолжают верить? Чудо!

Но вот, глядя на Жириновского, я многое понял. Брезгливая гримаса, не сходящая с лица, маниакальная настойчивость, с которой он, изображая параноика, заклинает на манер Кашпировского: только голосуйте за меня! Только проголосуйте! Только проголосуйте, расслабьтесь и больше ни о чем не думайте! Он и его коллеги начитались всего этого в западных популярных рекламных брошюрках по «промыванию мозгов». Что ж, всем хорошим во мне я обязан книге. Осталось только найти актера, который вот так, прямо по Станиславскому, все это разыграет, и дело в шляпе.

Что же «это» он должен сыграть?

Сыграть максимально неудобного, неприятного, раздраженного трамвайно-коммунального склочника и забияку. И вот это привлечет избирателей?! Ага, это самое!

Политик должен иметь некую модель своего избирателя. Что это за «маленький человек», что он из себя представляет и чего он хочет от «большого барина», от Президента? Традиционная модель примерно такая: избиратель хочет видеть перед собой уравновешенного, разумного, сильного, с чувством юмора человека. Он должен быть близок «маленькому человеку», не слишком отрываться от него (скажем, Сахаров абсолютно не годится), но быть лучше, сильнее, увереннее его, рядового избирателя!

Это обычный образ демократического политика и опять-таки в благополучной стране. Идеально соответствуют такому образу улыбчивые американские конгрессмены. Этот образ в принципе «проходим» и у нас. Здесь идет, так сказать, «игра на повышение» — политик поднимает избирателя в его собственных глазах. Как в гостях: рядом с таким хозяином ты и сам стараешься держать себя приличнее.

Но есть и иная модель, принципиально иная. Четкая игра «на понижение». Да, вы такие, и я такой — как бы говорит этот политик. Мы салфетку, понимаешь, за воротник не засовываем (хотя, между прочим, пообразованней иных-прочих будем!). Да, мы не стесняемся — из нас так и лезет наше нутро, и его незачем скрывать. Расслабьтесь, не сдерживайте себя! Мы толкаемся в очередях, мы отталкиваем женщин, мы хамим друг другу, мы изначально агрессивны и раздражены — и тем гордимся! Мы такие — и нечего это скрывать. И — бросьте комедию ломать! «Там», у «тех», благородных, политиков, все тоже такие, точно такие! Только они все врут, а я (мы) — все честно, открыто.

Это значит одно: дана открытая установка на специфическое растление народа. Жириновский разжигает самые слепые, садо-мазохистские инстинкты, прежде всего расовой ненависти. Эти чувства заведомо никуда не могут привести, кроме как к драке, грязи, крови. Ну и что! Наплевать! Зато душу отведем!

Итак, с одной стороны, провоцируются, поощряются (тем более «разрешаются») самые низкие, позорные желания. С другой — в самом этом растлении есть и садизм по отношению к тому же избирателю. Заметьте, с ним разговаривают грубо, его «опускают», ему угрожают, обещают плеть (хотя, конечно, и хлеб тоже), на него кричат. Жириновский беснуется на экране, и его бешенство передается зрителю, заражает его. Жириновский не боится, что бешенство против него же и обернется, что он бросает кирпичи на свою же голову. Пусть кто-то будет резко против — плевать! Главное — вывести из состояния равнодушия, ленивой иронии, главное — задеть за живое. Если это достигнуто, то — понеслось. Он исходит из представления о своем избирателе как злобном существе, ищущем законный выход для своих страхов, для агрессии, зажатости, вечной неустроенности этой треклятой жизни. Я даю вам этот выход, я узакониваю эту агрессию и канонизирую ее — идите, с воем бегите за мной. Но, уж извините, я не стану вас поливать розовым сиропом, не стану вам внушать, что вы идете стройным гимнастическим шагом! Нет, вы бежите за мной на четвереньках — и я это не скрываю! Это-то и чудесно: «Я прежде всех про себя расскажу. Я, знаете, из плотоядных. Все это там, наверху, было связано гнилыми веревками. Долой веревки, и проживем эти два месяца в самой бесстыдной правде! Заголимся и обнажимся!

— Обнажимся, обнажимся! — закричали во все голоса».

Вот из такого примерно представления о своем избирателе и исходит Жириновский. Прав ли он? Человек, известно, многомерен. Порвать «гнилые веревки» этой «химеры, именуемой совестью», и заменить ее парой бессмысленных лозунгов типа «наших бьют!», повести избирателя «вперед — по могилам» так же возможно, как возможно — при других обстоятельствах — поднять этого избирателя над его уровнем, внушить ему цивилизованные правила политической жизни.

Итак, есть ли у Жириновского (какую бы новую фамилию ни надел следующий сын турецко-польско-подданного) шанс? Шанс очень неплохой — люди с удовольствием сдирают «тонкую пленку «культуры» (Гитлер) и, ощутив, что «все позволено», «не стыдно», радостно идут за тем вождем, которому не стыдно их вести. Эта опасность не просто реальна, она более чем реальна. В сущности, как ни странно, это единственная серьезная опасность. Не стоит называть ее одной только фамилией. Но, чтобы понять всю меру серьезности этой проблемы, давайте представим на миг, что этого не может быть, потому что не может быть никогда. То есть как бы ни разрушалось наше хозяйство, какие бы трудности и кризисы (хлебный, скажем) ни стояли перед нами, но «они не пройдут». Думаю, что, если бы была такая уверенность, сам накал политической борьбы сразу бы резко спал, стал почти западноевропейским. В самом деле: если бы мы точно знали, что жириновские не придут и не пройдут, то чего, собственно, бояться? Партийных консерваторов? Да что же в них страшного или опасного, если рассматривать их самих по себе, если не считать, что они «прокладывают путь» фашиствующим партиям? Сами по себе — пусть пишут, говорят, занимаются своими делами. Они представляют нормальную часть политического ландшафта. Крайние леворадикалы? Да что же в них страшного или опасного, если рассматривать их самих по себе, не считать, что своими действиями они расчищают дорогу фашистским партиям? Сами по себе ни консерваторы, ни радикалы не представляют ни малейшей опасности — только если не иметь в виду, что за их спиной, на манер восьмерых путчистов, маячат «чародеи».

Да, если нет опасности фашистской чумы (черной, красной, коричневой, да хоть зеленой), если нет партии, обращающейся к инстинкту ненависти и разрушения, отрицающей разум, компромисс, свободу, если считать, что такой опасности нет, то бояться всерьез нечего. Это как жизнь: если считать, что смертельных болезней нет, бояться всерьез нечего.

В западных странах так оно и есть. Поэтому там политика — игра, у нас же — игра со смертью. Не будем делать такого комплимента Жириновскому, Макашову, Невзорову, Кургиняну — мы боимся не их. Мы боимся того, что они могут стать спусковым крючком, высвобождающим смертельный заряд саморазрушительной агрессии, способный уничтожить общество. Противостоять этому могут только действительно консолидированные, действительно мощные демократические силы. Лишь во много раз превосходя и числом, и умением своих противников, демократия может быть относительно спокойна. Спокойна, что сможет справиться с темной силой, если она попытается выйти из-под контроля. Справиться нормальными демократическими средствами, не действуя против антидемократических сил антидемократическими методами.

Пока наша демократия далека от такой консолидации. Поэтому не получается посмеяться над тем фарсом, который мы все видели, оценить его достойным образом как комедию. Нет, пока что это пессимистическая комедия...

Отдел искусств представляет:



ИСКУССТВО ПРИНАДЛЕЖАТЬ НАРОДУ

«Советский балет промотал наследие русского балета, но еще болен манией величия»,— считает Ольга ГЕРДТ.



ЗАКУЛИСЬЕ

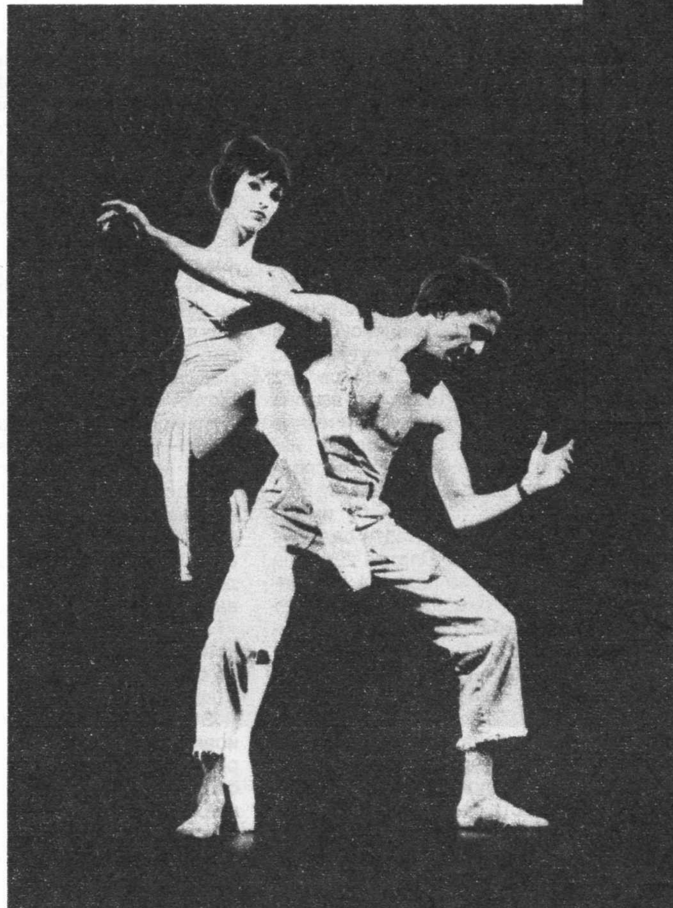
«Я себя убил, а не старушонку». Сценические и житейские откровения Маркуса Гротта в театральных заметках Сергея НИКОЛАЕВИЧА.

ИСКУССТВО ПРИНАДЛЕЖАТЬ НАРОДУ

Ольга ГЕРДТ

СПЯЩИЙ КРАСАВЕЦ

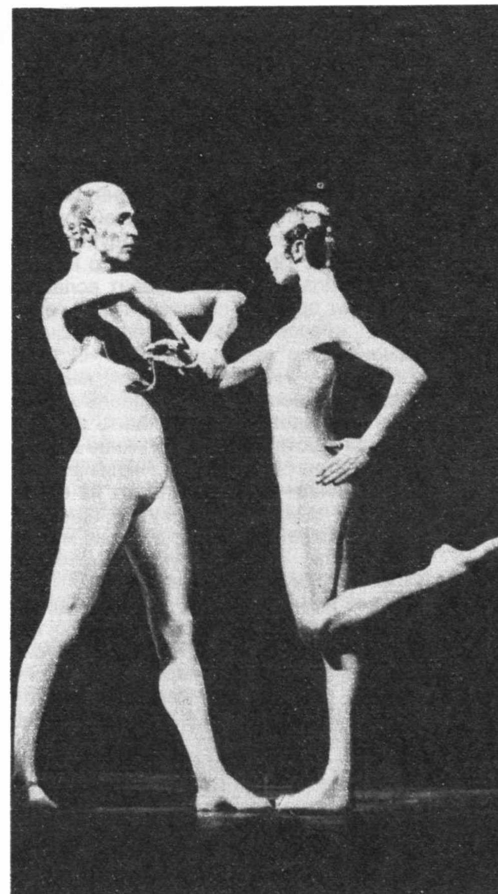




Лет сто двадцать тому назад знаменитый датский хореограф Август Бурнонвиль отправился в Россию — на русский балет посмотреть, себя показать. Похвастаться императорской сцене в то время особенно было нечем: один «золотой век» закончился, другой еще не наступил. Бурнонвиль скучал — поэзия в этих милых безделушках и не ночевала... Но, как практичного датчанина, поразило хореографа другое: «Суммы, которые тратятся в столицах России на театры, превосходят все наши представления о бюджетах и дотациях, и все здесь обставлено с роскошью, подобающей «державе первого ранга», пребывающее же в упадке балетное искусство пользовалось таким успехом, словно находилось в полном расцвете: «более оживленной и благодарной публики не существует нигде на свете». Обескураженный российскими парадоксами, маэстро сокрушался: «Что наслаждение, даваемое здешними балетными спектаклями, отнюдь не эстетического характера — об этом не может быть двух мнений... я скорее грустил, нежели радовался, глядя на замечательные таланты, применение которых так резко противоречит моим понятиям об искусстве Терпсихоры».

Интересно, что сказал бы Бурнонвиль сегодня, кабы довелось ему посетить уже не два роскошных российских балетных театра, а пятьдесят с лишним обнищавших, но старательно тиражирующих бледные оттиски с шедевров отечественной классики,— советских, больших, академических, орденоносных, имени кого угодно, только не имени Мариуса Петипа, или Льва Иванова, или Вацлава Нижинского... Наверное, расстроился бы окончательно, решив, что мания величия — болезнь наследственная и промотавшим отцовское богатство потомкам скрывать ее все труднее. Пожалел бы нищих безумцев, упоенно рисующих на бумажках пятидесятки и стольники, а на афишах академических театров выводящих: «Лебединое озеро», «Жизель», «Спящая красавица»... Откуда ему знать, что в этой стране уже никто не помнит, как выглядит благосостояние, но всем знакомы его символы; что академический театр с «шедеврами» в репертуаре — такой же символ культурного благосостояния каждого уважающего себя города, как парк или Дворец культуры в самом захудалом поселке, прекрасно обходящемся без дорог и водопровода? Нет, это не для европейского ума... Здравомыслящий датчанин глазам бы своим не поверил, увидев, как красиво умеет переживать кризис самый большой театр в стране. Как валом валит на бородатые спектакли публика, оживленная и благодарная, поскольку ходит в престижный театр не за эстетикой, а за мифом — о «лучшем в мире балете», «непревзойденном исполнительском мастерстве», «бережно сохраняемых традициях», «величайшем в мире хореографе»... Как в магазин — за символами продуктов, в институт — за символами образования, на работу — за символами денег.

С величайшим трудом прорвавшийся в Большой простой советский зритель



и привезенный с билетом в зубах прямо к подъезду иностранный гость равны, оба они благодарные туристы, покупающие на вернисаже символ русской матрешки: настоящая она или подделанная — справиться не у кого, сравнить не с чем... Не говоря уже о больших людях, заполняющих в часы досуга большие ложи и благосклонно взирающих на большую сцену; с высоты своего положения они искренне недоумевают: о каком застое идет речь? Все движется, все изменяется — скоро и их детки выйдут на великую сцену покорять искусством массы... И что бы там ни выуживала из-за кулис «желтая пресса», сколько бы ни митинговали сердобольные балетоманы, требуя отставки главного, какие бы страшные истории ни рассказывали покинувшие Большой балет инакомыслящие звезды — Большой останется большим, даже если станет совсем маленьким. Так наша расползающаяся держава останется неделимой и нерушимой, даже если придется сшивать лоскуты все теми же красными нитками. Даже если по внутреннему состоянию своему она станет совсем ничтожной, гигантская территория сама по себе будет производить величественное впечатление. А поскольку Большой балет давно уже стал таким же завоеванием социализма, как дружба порожденных кровью и потом народов, то и это завоевание должно быть заспиртовано и сохранено навечно. Большой балет — это музей одного хореографа и его достижений, законсервированных в одном, отдельно взятом театре. Замечательные дарования: великие артисты и великие педагоги — персонал, сдувающий пыль с драгоценных экспонатов, их назначение в том и состоит, чтобы обеспечивать державе роскошь по первому рангу... Если и попадают в музей произведения других авторов, что-нибудь вроде «Анюты» В. Васильева, «Сирано де Бержерака» Р. Пти, «Блудного сына» Дж. Баланчина, то редко и по суровой необходимости...

Упаси меня Бог от обвинительных речей: я не призываю отставить главного — что от этого изменится, и меньше всего хочу обидеть талантливых людей, проживших в театре жизнь,— они виноваты не больше и не меньше, чем все мы. Я о том, как, пытаясь проснуться, мы одновременно страстно желаем, чтобы нам показывали все тот же сон про благополучие. Мы такие хитрые, такие ушлые по части сделать хорошую мину при плохой игре, что когда-нибудь перехитрим самих себя. Как нам хотелось сохранить московский кинофестиваль! Два месяца бродили, бродили мы вокруг него, как гоголевские мужики возле чичиковской брички: доедет или не доедет? Не сломается ли по дороге, выдюжит ли, дотянет до приличного уровня? Да знали, что не дотянет, заранее скучали, но бегали, суетились, оправдывались, искали несуществующий смысл, вписывая в историю кино еще одну страницу — о несостоятельном, но состоявшемся, семнадцатом международном... Можно ли было его не проводить: он у нас единственный, а вдруг забудут и уже никогда не приедут?

Конечно, и бал можно устраивать в полубреду, с высокой температурой и в смокинге не первой свежести, только не достойнее ли сначала привести костюм в порядок и подлечиться, не на людях, а наедине? Стоит ведь один раз опустить планку — и вот мы уже в компании тех, и только тех, кому она по росту. Догадываясь, что авторитет наших форумов мы всегда были склонны несколько преувеличивать, несемся вдогонку за утраченными иллюзиями, ловим за хвост, как призрак коммунизма, увековечиваем, отливаем в бронзе... Вспомним: два года назад в ситуации капитального публичного ремонта легенды оказался и Шестой международный конкурс артистов балета в Москве. В то лето стояли в лесах колонны Большого театра, что вполне соответствовало духу мероприятия — юбилейный, но довольно будничный, скучный, обязательный, конкурс висел на волоске, как жизнь разгуливающих под колоннами гостей. «Безрыбье» было очевидным: «недобор» участников, и зарубежных, и советских, многие страны и школы попросту не были представлены, да и среди прибывших достойного «Гран-при» не оказалось. Закулисный шепоток — «к нам не едут, потому что боятся необъективности жюри, не хотят рисковать именем и карьерой» — подтвердился финальным курьезом, когда из соображений какой-то большой балетной политики золотой медали удостоилась не только Кристина Мак Дермотт, выпускница Мюнхенской Академии балета, пусть негромкая, но настоящая сенсация конкурса, но и советская участница, Галина Степаненко — техничная, виртуозная, крутившая фуэте со здоровой спортивной злостью, цитировавшая балетные образы без запинки, демонстрируя завидную память первой ученицы... Помню свой разговор с менеджером Кристины Фредом Хофманом, сетовавшим, как тяжело и неприятно выступать на конкурсах, превратившихся в последнее время... в цирковые представления. «Искусство выше техники, я стараюсь, чтобы мои ученики помнили об этом. Иначе не стоит работать: любой гимнаст прыгает и вращается лучше нас»,— вторила Хофману педагог Кристины Констанс Вернон. Поставить искусство Мак Дермотт выше техники Степаненко жюри не рискнуло: это означало бы подорвать престиж советской хореографической школы. Но лучшего способа подорвать престиж, чем самоутверждением любой ценой, нельзя было и придумать. Сколько ни делать вид, что школа, сотворившая из одной способной девочки балерину, актрису, личность, а в другой, не менее способной, развившая лишь «бойцовские качества»,— одна и та же русская классическая школа.

...Когда в июле в Большом театре появились французы — балетная труппа «Опера де Пари»,— сенсации не получилось, поскольку событием должно было стать совсем другое культурное мероприятие: процесс реанимации умирающего от собственной скромности кинофестиваля. Вот если бы великолепное созвездие французского балета — Патрика Дюпона, Франсуаз Легре, Изабель Герен, Элизабет Платель, Моник Лудьер, Кадара Беллрби, Манюэля Легри — можно было использовать в качестве престижных посетителей выставки достижений отечественной хореографии, они удостоились бы такого же внимания, как и прибывшая к закрытию кинофестиваля Софи Лорен, каждое движение которой было зафиксировано, замедлено и растянуто на километрах кинопленки... Французам следовало приехать в качестве почетных гостей оскудевшего кинофорума или же приурочить гастроли к очередному балетному конкурсу — как бы в знак уважения, признания, как бы «в нашу честь». Сами же по себе все эти заграничные звезды только расстраивают: остается «скорее грустить, нежели радоваться», наблюдая, как по-настоящему бережно сохраняют традиции те, кто не обременен обязанностью принадлежать народу, консервировать завоевания и изображать вечный триумф духовности уставшим от борьбы и пафоса телом. Французы занимаются искусством, как... любовью, дорожа интимностью и неповторимостью процесса. Стремясь к наслаждению «эстетического характера», они совершенно свободны от комплекса быть при этом «впереди планеты всей».

Эти гастроли были прекрасными и грустными: все лучшее рождается, может быть, и у нас, но у нас же и умирает. А живет там, у них... И снова вспомнился практичный датчанин, сто двадцать лет назад покидавший Россию с тяжелыми мыслями — великая страна, огромные богатства, материализованные в величественно-бессмысленных памятниках и дворцах; почему русские предпочитают любоваться мертвым грузом своих сокровищ и не умеют ими распорядиться? Почему так бездарно используют «замечательные дарования»? Не ошибался гость. Как не ошибался позднее и И. А. Бунин, отметив в «Деревне» эту особенность национального характера: подарили бабе роскошный платок, а она, дожидаясь праздничного случая, носила его всю жизнь наизнанку, да так и износила до ветошки. Сберегла красоту...

В двадцатом веке, предчувствуя опасность изнаночного существования, а позднее спасаясь от нее как от реальности, таланты увозили богатство с собой, точнее, в себе. В начале столетия пришедшей в упадок французской сцене вернула второе дыхание дягилевская антреприза. «Русские сезоны» покорили весь мир, но сначала — Париж, балетами Михаила Фокина, живописью Л. Бакста, А. Бенуа, К. Коровина, танцем мариинских звезд — В. Нижинского, А. Павловой, Т. Карсавиной, М. Мордкина... Четверть века танцевал и ставил в «Опера де Пари» Серж Лифарь. На сцене театра идут программы из балетов русских хореографов Дж. Баланчина, Леонида Мясина, Вацлава Нижинского — нам они почти неизвестны. На июльских гастролях французы показали лишь небольшую часть репертуара «Опера де Пари» — «Сон в летнюю ночь» Д. Ноймайера, «В ночи» Дж. Роббинса, «Юноша и смерть» Р. Пти, «От пробы к делу» Т. Тарп. Фрагменты классики — русской и зарубежной. Балет «Весна священная» — шедевр, созданный тремя великими русскими — композитором Игорем Стравинским, художником Николаем Рерихом, хореографом Вацлавом Нижинским. Клоун Божий поставил свой спектакль в 1913 году наперекор всему — традициям сезонов, настроениям публики, ожиданиям критиков. Через семьдесят лет балет восстановили американцы: Кеннет Арчер — декорации Рериха, Миллисент Ходсон — хореографию Нижинского. А в прошлом году балет появился в репертуаре «Гранд опера». Почему-то им это было нужно...

С 1983 по 1990 год труппу возглавлял Рудольф Нуреев, танцевал, восстанавливал русскую классику, но что «вытворяет» с нею беглец из Мариинки, узнать было невозможно: последний раз на гастролях в Союзе французский театр был в 1977 году. Балет Туйалы Тарп «От пробы к делу», исполненный в Большом суперзвездой «Гранд опера» Патриком Дюпоном, напомнил о другом беглеце из Мариинского — Михаиле Барышникове, именно на него ставился в Америке этот балет. Кстати, «великолепный Дюпон», как его называют, начинал свою артистическую карьеру с партии в балетах Юрия Григоровича — Курбский в «Иване Грозном», Меркуцио в «Ромео и Джульетте». Начинал... А сколько всего было потом? А наши этуали, молодые и талантливые, танцуют все то же, что и их предшественники,— изгнанные единомышленники главного, подвизавшиеся и подвизающиеся, кто на заграничных хлебах, кто на отечественных, и не всегда первосортных... Где она, блистательная плеяда, оживлявшая театр одним только своим присутствием?

Удивительные, кстати, происходят вещи. Не так давно в передаче «Кто есть кто», лукаво выглядывая из-за зрительской записочки, спросил Игорь Фесуненко Владимира Васильева и Екатерину Максимову: а вы почему молчали? Почему не боролись? Абсурд, сон, плохой спектакль по дрянному сценарию. А танцевать-то когда, если еще и бороться? И спасибо, что не боролись, может быть, благодаря тому, что занимались они своим прямым делом, мы еще и помним вкус подлинности, благодаря им нас на мякине не проведешь... Этуали Парижской оперы не борются, они танцуют. И танцуют все: рожденное в Европе, России, Америке, танцуют классику, неоклассику, модерн, джаз... Танцуют в балетах М. Петипа и А. Бурнонвиля, С. Лифаря и В. Нижинского, Дж. Баланчина и Л. Мясина, Р. Пти и М. Бежара, Дж. Роббинса и Д. Ноймайера, М. Каннингема и У. Форсайта, П. Тейлора и И. Килиана... Все, что становится классикой двадцатого века, рано или поздно появляется на сцене «Гранд опера».

Но этого «минимума» в театре им еще и мало! Франсуаз Легре еще и поет в «Казино де Пари», в спектаклях и программах других театров, она пианистка и драматическая актриса. Моник Лудьер, кроме классики и модерна, занимается джазом, пантомимой, индийским искусством танца и мечтает о драме... Но самый неугомонный среди французских этуалей — Патрик Дюпон, работавший, наверное, со всеми крупнейшими хореографами современности, перетанцевавший весь огромный репертуар «Опера де Пари», с собственной труппой «Дюпон и его звезды из Парижской оперы» исколесивший всю Францию и Европу. В 1988 году танцовщик возглавил «Балет Нанси», а в прошлом году стал директором танца «Опера де Пари»... в тридцать один год. В свое время он ссорился с Нуреевым, «боролся», но не за выживание — за независимость: был недоволен репертуарной политикой, постановками главного. Наши «борцы» иначе завершают свою карьеру. Они если и становятся главными, то уже не танцуют и, что самое обидное, почти не ставят спектаклей...

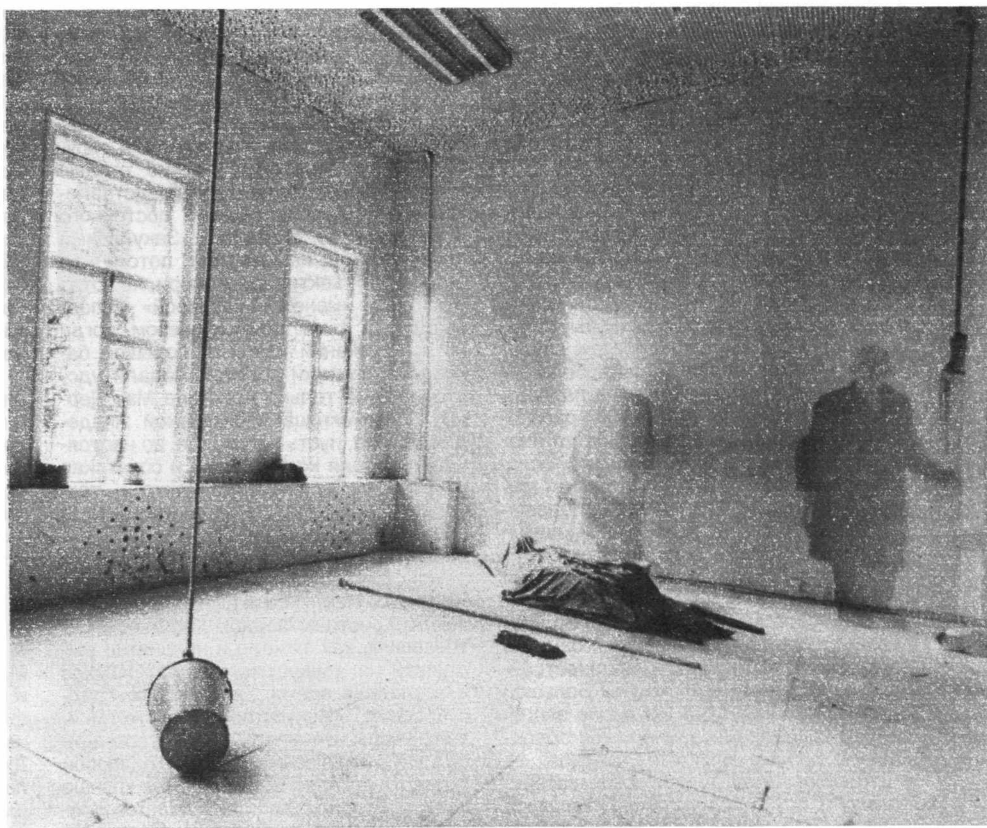
Это чистейшей воды мистика, но на две недели театр стал действительно Большим, принадлежавшим только себе и искусству в себе. Французам и стены помогали, но и французы помогли стенам, может быть, потому, что привезли с собой какую-то частичку его самого: достойного этой труппы, сияющей молодостью и свежестью, достойного восьмидесяти премьер в год, как у французов; достойного таинства живого искусства, когда в особой тишине загипнотизированного зала падает в какую-то космическую глубину сердце и внутри, черт его знает от чего, но что-то меняется, оттаивает, теплеет, когда вдруг ловишь себя на том, что в искусстве не бывает техники и нет нужды думать о ней, как нет нужды, читая стихи, фиксировать рифмы и размеры. Это поэзия, дар Божий, которым нельзя кичиться,— ускользнет, нельзя закупорить и передать по наследству, как символ объема... И сценическая культура — способность существовать естественно и свободно в любом хореографическом тексте, независимо от жанра, стилистики, времени создания,— не появляется вдруг. Она никогда не появится, если в толстой книге под названием «Русская хореография» читать вдоль и поперек только одну главу, не догадываясь о содержимом сотен страниц, вырванных чьей-то самоуверенной рукой... И чего же мы ждем, наблюдая на сцене восковые танцы восковых фигур, если выбрасываем на широкую мировую дорогу вместе с непонятыми и неугодными главами всех тех, кто не желает толкаться и топтаться в нашей узкой колее, а вместе с ними — смысл, суть, дух самого капризного и хрупкого искусства...

«Друг мой, старый балетоман, не проливайте благородных и радостных слез по поводу реставрации вашего любимого искусства. Это искусство погребено у нас. Совсем погребено, и ничто его не воскресит больше... Удовольствуемся тем, что насладимся им и поаплодируем ему, когда оно явится к нам «на побывку». Примем это царственное удовольствие так же, как Париж принимает у себя королев».

Марсель Прево. 1910 год. Триумф «Русских сезонов» в Париже.

ЗАКУЛИСЬЕ

ОН ИГРАЕТ «ПРЕСТУПЛЕНИЕ»



Сергей НИКОЛАЕВИЧ

В начале все не всерьез, понарошку. Вверх по лестнице мимо вахтерши с ее ключами и телефонами. В комнату, похожую на репетиционную, где пол и стены выкрашены в белый цвет, а за окнами — тополиный пух, гул Тверской и погашенные прожекторы. Когда станет темно, их включат, чтобы выжечь комнату нестерпимым белым электрическим светом. Пространство для игры? Скорее — для сеанса электрошоком. «Игра» и «шок» — ключевые слова для понимания лексики нового спектакля Камы Гинкаса «Играем «Преступление» по Достоевскому, поставленного во флигеле Московского ТЮЗа.

Здесь у шока запах масляной краски и цвет свеженарубленной капусты. Их запоминаешь с какой-то предобморочной отчетливостью. А еще помнишь звук тихого напева, или бормотания, или предсмертного бреда, который доносится откуда-то с потолка. Словно кто-то тоскует и не может выразить себя в слове, только один этот горестный, плачущий, недоумевающий, долгий-долгий стон. То ли мужской, то ли женский. Не разобрать.

— Ты знаешь, кто это плачет в самом начале, Маркус?

— Нет, не знаю. Спроси у Камы. Может быть, это душа Раскольникова?.. А вообще это один слепоглухонемой. Он живет в Финляндии и пишет стихи. Очень образованный. Его песню мы записали. Но что она значит?.. Нет, лучше спроси у Камы.

Мы сидим с исполнителем роли Раскольникова Маркусом Гроттом во дворе Московского ТЮЗа. Лето. Сезон окончился. Сегодня ему уезжать к себе в Финляндию. Переводчица опаздывает, и мы общаемся на том International English, на котором в Европе принято говорить в аэропортах, супермаркетах и отелях. В этом языке нет оттенков. Он бесцветен, бесплотен, бездушен. На нем можно говорить, но нелегко понимать друг друга.

Гротту тридцать три. Он швед по национальности. Родился и живет в Финляндии. Никогда не думал, что станет актером. С детства любит лошадей, животных. Изучал биологию в Турку. Три месяца. Но „that is not my cup of tea". В театре уже десять лет. Имел успех. Два года назад пережил серьезный кризис (так и сказал „crizes", не поясняя причин и последствий). Лечился у психиатра. Какое-то время не мог выходить на сцену. Теперь чувствует себя лучше. У Гинкаса играет уже второй спектакль. До этого был Чехов в Национальном шведском театре. «Палата № 6». Спектакль назывался «Дневник сторожа Никиты». Он там играл главного героя. Я видел фотографии. На них он голый, с безумными глазами, втиснутый в какие-то полосатые матрацы, больше похожий на узника Освенцима, чем на пациента российской уездной лечебницы.

— Тебе нравится работать с Камой?

— Да, очень. Он всегда знает, чего хочет, и умеет довести дело до конца. Когда два года назад в Милане мы вместе с ним и Геддой фантазировали, как это было бы здорово поставить «Преступление и наказание», а мне сыграть Раскольникова,— все это казалось чем-то невероятным, несбыточным. А потом выяснилось: ничего страшного. Все возможно. И даже нашлись деньги для моих приездов из Хельсинки. И теперь я приезжаю в Москву каждый месяц и играю подряд пять-шесть спектаклей, а потом уезжаю к себе, но знаю, что у меня здесь дом, друзья, наш спектакль и это мое пальто...

Весь спектакль Раскольников ходит в бесформенном черном пальто на голое тело. Ботинки размера на два больше. Остриженная голова новобранца или камерника. Без креста. С серьгой в правом ухе. Всегда путаю, кто в каком ухе ее носит — бисексуалы, гомосексуалы. Маркуса спрашивать не стал. Неловко. Впрочем, его Раскольников скорее асексуален. Его отношения с Соней, как, впрочем, и с Порфирием Петровичем, не окрашены чувственностью. С той и другим он прежде всего предельно агрессивен. И это не агрессия оголодавшей плоти, а скорее страждущего духа, избывающего свою боль в безумных выкриках, в слепых приступах бешенства, в жестоком сладострастии собственного или чужого уничижения.

Конечно, Гротт играет диагноз — МДП — маниакально-депрессивный психоз. Так принято у них на Западе, в кино и на театре,— ставить диагноз и играть его со всеми подробностями, словно перед глазами не текст роли, а выписка из истории болезни. Но Гинкасу этого мало. Ему от Гротта нужен не сам диагноз, но игра в диагноз. Ему нужно не само преступление с красными потеками чернильной крови на двери (была, была уже эта окровавленная дверь на Таганке, у Любимова!), но игра в преступление. Отсюда и кочан капусты, хрустящий под топором Раскольникова в сцене убийства старухи-процентщицы, и московские сумерки, притворившиеся белой петербургской ночью, и старинный сентиментальный вальс, вдруг сорвавший Раскольникова и Порфирия Петровича и закруживший их в конце 1-го акта.

Вальс-допрос. Вальс-пытка. Вальс-дознание.

Глаза в глаза, не отрываясь друг от друга.

«Так кто же убил?» — «Как кто убил? Да вы и убили, Родион Романович». — «Это не я убил».— «Нет, это вы-с». Вальс их кружит, сбивает дыхание, учащает пульс, срывает голос на шепот. «Мы провода под током» — сказано совсем по другому поводу, но сторонняя поэтическая строчка лучше всего передает состояние обоих героев. От этого вальса бьет током Достоевского. В нем и «холод спинной», и дрожь «погони», и страх обмолвки, и игра. Больше всего игры. Головокружительной игры с язвительной полуулыбкой на губах.

Как и полагается в танце, кто-то ведет, кто-то подчиняется партнеру. В дуэте Порфирия Петровича и Раскольникова «ведет» Порфирий Петрович — Виктор Гвоздицкий, великий виртуоз по части улыбок. Он расточает их, как опытная примадонна перед тем, как пропеть очередную фиоритуру. Она рассыпает свои жесты, ужимки, позы, позки, словно бисер перед вышиванием. Шаг за шагом. Стежок за стежком. Мастерская, изумительная работа. Но похоже, что сам Гвоздицкий не очень-то ею дорожит. В один миг он сметет, как мусор, бисер своих блестящих актерских «вышиваний» — и вот уже на нем не шелковая пижама болтуна, сибарита, дачника с Васильевского острова, а энкавэдэшная шинель уполномоченного. И никаких ужимок. Взгляд, голос, походка — все другое. Уверенным, бывалым жестом он подхватит Раскольникова, прижмет к себе и, невозмутимо улыбаясь самой ласковой, самой дьявольской из всех своих улыбок, поведет его в вальсе по кругу лживых признаний, случайных оговорок, мельком брошенных фраз.

Раз-два-три. «Это не я убил». Раз-два-три. «Нет, это вы-с». А рядом с ними будет вальсировать еще одна пара — старуха-процентщица с топором, всаженным в голову по самую рукоятку, и Миколка — маленький мужичок с жидкой бородкой и бегающими глазами юродивого, принявший на себя преступление Раскольникова,— оба его жертвы, оба героя следствия. Тур за туром, круг за кругом этот вальс ведет к тому, чтобы Раскольников не выдержал и закричал: «Я не дам себя мучить». Закричал по-русски. И, кажется, в это мгновение он впервые испугался своего голоса.

— Маркус, что значат для тебя Россия, русские?

— Фантасмагория, бред, гротеск, Гоголь. Вдруг начинаешь думать, что ты — это не ты. Как будто живешь в каком-то другом веке или в другом мире. И непонятно вообще, как здесь жить, но я живу. По утрам хожу на ипподром, занимаюсь верховой ездой, вечером играю «Преступление», и даже интересно, чем все это кончится... Россия для меня — это такой длинный-длинный роман без завязки и без кульминации. Его можно читать бесконечно. Никогда не забуду, как однажды в гостинице «Москва» я поднимался на лифте. Им манипулировала очень старая и, как мне показалось, не очень трезвая лифтерша. Всю дорогу она спала. И даже когда требовалось нажать нужную кнопку, она делала это не глядя, автоматически. Она ни разу не оши-



блась, но у меня было такое чувство, что я не поднимаюсь на свой этаж, а несусь куда-то вместе с ней на взбесившемся лифте, еще немного — мы пробьем крышу и окажемся под облаками, но и тогда она будет все так же спать и нажимать свои кнопки.

Раскольников — иностранец, почти не говорящий по-русски. Его никто не понимает, хотя все пытаются ему что-то объяснить, вразумить, наставить. Так еще общаются с глухонемыми. Форсируя голос и преувеличенно жестикулируя. Но Раскольников Гротта не глухонемой. Он все слышит и говорит почти без умолку, перемешивая шведские и русские слова. Произношение, как и сами слова, не имеет значения. Завораживает интонация. Гротт уловил в прозе Достоевского главное — ее нервную ритмику, ее прерывистое дыхание, ее исступленный, хриплый натиск. Словно искусный джазмен, он импровизирует с классическим текстом, переменой интонации, перебоем ритма, переходами с прозы описаний на прямую речь героя. По-шведски и по-русски он играет, в сущности, одну тему, один сюжет: убийство души.

«Разве я старушонку убил? Я себя убил, а не старушонку»,— скажет он, а потом повернется к стене и поднимет руки, словно ожидая выстрела в бритый затылок. Но рядом будет она, Соня,— влюбленная женщина, сильная женщина, женщина прежде всего. Такой ее играет Ирина Юревич. Когда она читает Раскольникову Евангелие, голос у нее дрожит, как у пионервожатой на праздничной линейке. Словно она отчитывается за него и за себя перед Богом. Она просит, она требует, очень женским жестом собственницы она трясет Раскольникова за ворот пальто, она одна знает, что надо здесь делать. Любить! И никакой кротости, никакого елея и потупленных взоров — страсть. Только страсть движет этой маленькой женщиной с распущенными волосами и кукольным полудетским личиком. Ее звонкий напор — единственное, что может спасти Раскольникова. «Тогда Марфа сказала Иисусу: «Господи! Если бы ты был здесь, не умер бы брат мой...»

— Какие впечатления жизни оказали на тебя, Маркус, наибольшее влияние, сформировали характер?

— Смерть матери. Она умерла, когда мне было 9 лет. А через два года отец покончил с собой. В моем детстве все время кого-то хоронили.

— Тебе было страшно?

— Скорее непонятно. Самые близкие, необходимые люди уходят, исчезают. Куда? Зачем? Я не очень-то мог осознать, что такое смерть. Умер, не умер. Просто нет человека, который с тобой играл, брал на руки, утешал, наказывал, любил. Нет, и все. Непонятно. Мы остались одни с моим старшим братом. Конечно, как у всех, у нас были родственники, взявшие заботу о нас. Но я и он были, как это по-русски, «сироты». Правильно? Мне кажется, что все идет оттуда, из детства,— и характер, и судьба. Но на самом деле я не верю в судьбу. Я верю в себя. Главное для меня — быть там, где я нужен, здесь и сейчас, в нужный момент. Мне кажется, что мой Раскольников здесь нужен. И это не амбиция, не претензия на что-то там великое. Но я знаю, что тем зрителям, которые приходят к нам вечером на спектакль, нужно, может быть, даже необходимо, услышать, как я кричу: «Я не дам себя мучить». Нельзя мучить людей, нельзя убивать, нельзя преступать. Ну, что я об этом тебе говорю, у Достоевского об этом все сказано гораздо лучше...

Он играет «Преступление». Играет для 40 человек, которые, как правило, не знают шведского. Он рассказывает им про забитую насмерть лошадь, которую увидел маленький мальчик Родя («Папочка, что они делают! Папочка! Они же ее убьют!» — крик разбуженного сознания, детский голос вмиг повзрослевшей души). Он надевает газетную треуголку, оставшуюся от маляров, чтобы объяснить Соне и зрителям про Наполеона и про «тварь дрожащую», и про «вошь», он примеряет к горлу петлю и даже сам висит в ней какое-то время. Он доходит со своим героем до края и заглядывает в самую бездну, именуемую человеческой душой. Его Раскольникову не дано будет узнать счастье покаяния. Маркус Гротт играет преступление. Он играет и наказание. Это главное. Наказание, которое не искупить ни жаркой молитвой, ни слезами раскаяния, ни судебным приговором, ни даже добровольно принятой мученической смертю — ну, повисел в петле. Делов-то!

Почему это играет иностранец? Почему Достоевский идет на шведском? Думаю, что Гинкас прав. Сегодня вину и муку Раскольникова нашему актеру всерьез не сыграть. Нужно другое сознание, не искалеченное ни социалистическим выбором, ни социалистическим опытом, ни школьной программой по литературе для 9-х классов, когда у нас «проходят» Достоевского, чтобы больше никогда к нему не прикоснуться. Нужно другое мироощущение, когда неповторимость и самоценность человеческой личности не есть туманная абстракция, вычитанная у классиков и периодически поминаемая для красоты с высоких трибун, не непреложная норма людского сообщества, подтвержденная всем ходом, всем распорядком и устройством жизни. Остальное-то можно сыграть — страх смерти, приступы падучей...— *этого* никогда. Если угодно, Раскольников, каким его играет Маркус Гротт, швед по национальности, финский подданный,— это еще одно благодеяние Запада наряду с кредитами и бесплатными посылками для детских домов, это еще один их великодушный жест — восхищайтесь, аплодируйте, нам не жалко! Еще один дар несчастной России — нам вернули Достоевского. Thanks! You are so kind.

Фото Леонида ЗИНКЕВИЧА

Владимир ПАРИЙСКИЙ,
специальный корреспондент «Огонька»

СУД БЕСЧЕСТИЯ

За военным журналистом из Архангельска Олегом Мильчаковым, продолжающим собственное расследование «дела Руста», охотились долго и куда старательней именно те люди, которые способствовали беспрепятственной посадке «воздушного чудака» у храма Василия Блаженного.

Рассказывают, что, когда министр обороны, пряча глаза, доложил о перелете Верховному главнокомандующему, Горбачев удивленно спросил: «Так что ж мне теперь — идти и встречать?»

В результате последовавших оргвыводов пониженные в должности генералы оказались в одной воинской части с Мильчаковым, вскоре скрестив с ним шпаги чести. Но насколько далеко зашел их конфликт и каковы его истинные причины, я понял, лишь побывав в Краснознаменном соединении ПВО.

МАЙОР С ПЕРОМ НАПЕРЕВЕС

Из РАЗБОРА ПОЛЕТА, выполненного О. Мильчаковым:

«28 мая 1987 г. 13.50.

С аэродрома под Хельсинки Матиас Руст поднимает в воздух самолет «Сессна-172» и берет курс на Москву.

14.29.

Оператор радиолокационной станции рядовой Дильмагомбетов в приграничном районе «засек» летательный аппарат, не отвечающий на запрос «Я свой самолет». Капитан Осипов объявляет по роте сигнал «Готовность» и докладывает о нарушителе по инстанции.

15.19.

С опозданием появившийся на своем рабочем месте генерал-майор Кромин рапортует на Центральный командный пункт войск ПВО генерал-майору Мельникову об обнаруженной «цели № 8255».

Из показаний Кромина:

«В связи с моими докладами Мельникову могу пояснить, что я докладывал ему о всей работе и он высказал предположение, что это птицы... Я сказал, что птицы — так птицы... Задачу на принуждение цели к посадке я не ставил».

16.17 — 16.30.

— Ну что, сбивать будем?.. Генералу Мельникову дайте трубку... Сергей Игоревич, Кромин. Я сейчас разговаривал с летчиком, который сел. Ну вот, он говорит: ...типа Як-12. Он так сказал. Легкомоторный.

16.41 — 17.06.

— Пожалуйста, Мельникова... Это Кромин. Сергей Игоревич, я так и не пойму, что это такое... Все законы летной службы нарушены... Кругами идет, как будто его закручивает. Не могу себе представить. Станция ни одна не теряет, а самолеты в прицел не наблюдают.

17.13 — 17.55.

— Слушаю, генерал Кромин. Сергей Игоревич, я по телефону говорил сейчас... На высоте 150—200 метров цель... потеряна. Подкрепи нас москвичами.

— Ну-ка давайте еще внимательнее разберитесь. Прямо по площадкам. Вот в этом районе. Кто мог запустить зонд в этом районе? Может быть, какая-нибудь баба, может, пехота?

18.47.

— Это Кромин. Сейчас Московский округ снова сопровождает эту цель... Теперь, честно говоря, мне кажется, что это какой-то зонд. Потому что я сомневаюсь, что летательный аппарат так долго может держаться в воздухе.

18.51 — 19.02.

Из показаний полковника Кривошеева:

«На всем маршруте цель радиотехническими подразделениями наблюдалась устойчиво».

Мельников дает команду снять цель 8255 с оповещения на ЦКП и вторично «забывает» зашедшему справиться о воздушной обстановке главкому войск ПВО Колдунову сообщить о проведенной и брошенной охоте.

Руст расправляет на колене карту Москвы. Больше ему не мешали».

Зал бушевал.

Чуть не сотня людей с погонами в два просвета неистово выкрикивала:

— Мильчаков — подонок!

— Таким не только в армии не место, а и...

— Да им просто манипулировали!

— И корреспондента «Огонька» за нос водят, не те документы подсовывают.

Поднялся с места и. о. начальника штаба генерал Мельников:

— Товарищи офицеры! Раз диктофон включен, пусть громко запишет — мы поддерживаем наше общее решение осудить майора Мильчакова?

— Да-а-а! (Как «ура» на параде.)

Но прошел сквозь строй негодующих рядов и повернулся лицом к сидящим полковник Федоров:

— Нет! Это и не общее, и, разумеется, не единое мнение. Мильчаковым занимался товарищеский суд чести, а это всего пять человек. Да и присутствовали тогда на собрании не все...

Про меня сразу забыли — набросились на полковника.

Я стоял на сцене и ничего не понимал. Почему такая баталия? Чем столь неугодны и сам Мильчаков, и те, кто его защищает?

Листая накануне подшивку армейского еженедельника «Часовой Севера», чуть не в каждом номере находил статьи и очерки, подписанные спецкором Мильчаковым, в которых рассказывалось о горьких буднях отдаленных подразделений, о попытках искоренить дедовщину, о злоупотреблениях командиров, о военторговской мафии.

После каждой разоблачительной корреспонденции автору приходили письма с угрозами, семью терроризировали телефонной бранью, генерал Кромин публично обещал «набить морду», а недавно со зла топором изрубили квартирную дверь.

То, что столь нецивилизованным образом вымещали свое отношение к журналисту так или иначе затронутые им, гнусно, но объяснимо, а отчего сейчас распалены сослуживцы?

Наперед знавший, что ничего никому не докажет, и все-таки по совести обязанный выступить, сухопарый высокий полковник, головы не согнув, вернулся на место.

А сидящий сбоку, между сценой и аудиторией, генерал Мельников вскинул руку, как саблю, и начал рубить:

— Где угодно готов повторить — хоть я теперь некоммунист, но за Родину глотку перегрызу любому!

Кто-то из дальнего кресла спросил, убедился ли я, что на стороне Мильчакова только жалкие единицы.

Я возразил: какие там жалкие, если в оценках разошлись даже командующий соединением и его заместитель.

— Это какой еще заместитель?

— Генерал-майор Колтунов.

На пленке долгий

раскатистый

хохот.

Офицеры смеялись, а мне стало не по себе. И от этого яростного противостояния штабных управленцев друг другу. И от показного желания тех, кто не хочет в армии перемен, взять в союзники демократов и реформаторов, чтобы немедленно их «нейтрализовать». И от того, как легко забываются постыдные уроки коллективных избиений инакомыслящих.

Представляю, каково было Мильчакову, когда он так же стоял перед этим залом, собравшимся его судить.

ПОЛКОВНИКИ БЕРУТ РЕВАНШ

Из статьи О. Мильчакова «ПАРАДОКСЫ «ДЕЛА РУСТА» (журнал «Коммунист Вооруженных Сил», 1990, № 21):

«Один из «крестных отцов» Руста, генерал-майор Мельников, бывший оперативный дежурный Центрального командного пункта войск ПВО... все чаще допускает в своей работе срывы. Стал, по свидетельству сослуживцев, груб с подчиненными, не раз необоснованно обвинял их в халатности, пытался перекладывать на них вину за собственные просчеты. Плюс ко всему допустил злоупотребление служебным положением, нарушение финансовой дисциплины. Но до сих пор Мельников занимает ответственную должность, руководит людьми. Что это — синдром должностной неуязвимости?»

Совет офицерского собрания управления части эту публикацию осудил. А военная прокуратура по ее материалам возбудила против Мельникова уголовное дело.

Председатель суда чести полковник Янковский оглашал заключение и изредка посматривал на Мельникова — Сергей Игоревич одобрительно кивал головой, это была его разработка.

Он вспомнил, как предрассветным мартовским утром, занятый тревожными размышлениями, удастся ли продержаться до пенсии последний год, не сразу вник в суть поступившего сообщения. ДТП. Так при чем же тут штаб, обращайтесь в ВАИ. Что-что, майор Мильчаков?? А ну-ка подробней!

Выслушав сбивчивый рассказ, Мельников понял, что получил шанс разом покончить с обложившим его журналистом.

Уже к концу дня, проведя собственное поспешное следствие, генерал ошарашил командующего рапортом, что Мильчаков — убийца.

Вот *версия Мельникова,* изложенная им самим.

Не имевший на то никакого права спецкор вызвал к дому штабную машину и по пути на работу, не руководя действиями водителя, способствовал дорожно-транспортному происшествию, при котором под колеса попала женщина-пешеход. Малодушный майор приказал совершившему наезд водителю-рядовому дать ложные показания и скрылся, не оказав помощи пострадавшей и не сообщив никуда о случившемся. Женщина скончалась, а виновник ее гибели преспокойно оформлял в магазине документы на приобретение автомобиля — нет, ну каков негодяй?! Да еще при дознании вел себя крайне вызывающе, врал, выкручивался, оскорблял. И такого щадить? Гнать поганой метлой!

Роль «метлы» должен был сыграть полковник Янковский, и год назад требовавший примерно наказать майора за публикации.

И вот он прибывших на очередную читку приказов старших офицеров попросил задержаться — состав суда (без обязательного о том предварительного извещения) готов изложить собранию результаты расследования.

«Убитая женщина», «трусливое бегство», «покупка автомобиля» — все это произвело соответствующее впечатление. Мильчаков, сгорая со стыда, взбешенно огрызался, чем только усугублял положение. «Все не так,— кричал он,— это выдумки!» «Доказательства!» — требовал зал. А какие могут быть при себе доказательства, когда он тоже не знал, что сегодня — суд, его и заманили под ложным предлогом.

Ловушка захлопнулась — заседатели ушли совещаться.

Из рассказа полковника Марусева, председателя контрольной комиссии:

— Нам показывали хорошо подготовленный спектакль — все было заранее предрешено. Да о чем говорить, если текст ходатайства об увольнении Мильчакова читали с машинописного листа, а в комнате, где он готовился, машинки отродясь не водилось... Олег Александрович сильно надеялся на апелляцию, в которой детально проанализировал все грубые процессуальные ошибки, но письменного ответа так до сих пор и не получил.

Потом я расспрашивал и свидетелей, и очевидцев того мартовского происшествия, изучил все документы и в результате предлагаю *собственную версию* случившегося.

Машину из гаража Мильчаков не вызывал, поскольку заранее договорился с водителем, что утром подсядет попутно.

Проведенное прокуратурой следствие установило — в наезде водитель не виноват и ответственности не подлежит. Тем более неповинен, стало быть, пассажир.

Официальные справки, полученные в УВД и ГАИ, подтверждают: звонок

о произошедшем от Мильчакова зафиксирован, а после приезда «Скорой» он давал показания, явившись для этого сам.

Что касается помощи пострадавшей, то, к сожалению, ее не смогла оказать и бригада врачей.

В своих объяснительных шофер снимает подозрения в якобы «принуждении к обману» — да, он первоначально сообщил следователю, что был в машине один, не желая впутывать в трагическую ситуацию постороннего, но Мильчаков-то в это время уже был в ГАИ.

«Посетил автомагазин...» Кто знает нашу торговлю, поймет — пропустишь заранее определенный тебе день оформления документов и «вылетай» из многолетней очереди. Так ли уж предосудительно, что, выполнив все формальности, Олег, морщась, принудил себя и к этой?

Но не к тому я клоню, что вот, мол, приехал и во всем разобрался. Многие тут понимают: уж в чем, в чем, а в трусости и малодушии Мильчакова не заподозрить.

Рассыпается прахом обвинительный акт.

А вердикт — остается в силе.

Почему?

Ответ кроется в газетных страницах «Часового Севера».

Человека юридически судили как военнослужащего, но фактически приговорили к изгнанию из армии как мешающего командирскому благополучию журналиста.

Генерал Колтунов, рыком боли:

— За майора я буду стоять до конца. Всех на ноги подниму. Такие ошибки нельзя допускать...

На следующий день, побывав у командующего Краснознаменным соединением, я поинтересовался его отношением к протесту редакции армейского еженедельника: «В решении суда чести и в последующих действиях начальников по отношению к Мильчакову О. А. присутствуют элементы расправы, а также гонение за критику».

— Выводов, к которым пришло офицерское собрание, это не отменяет,— был твердый ответ.

— А ваша личная позиция — ведь вы своей властью могли и по-иному обойтись с корреспондентом?

— В доверии отказать — таков глас большинства. Не посчитайся я с ним, и мой авторитет стал бы — ничто.

Тогда я положил перед Александровым постановление военной прокуратуры, еще в декабре прошлого года передававшей материалы о мошенничестве генерала Мельникова в суд чести, и спросил:

— С Мильчаковым «разобрались» в три недели. А тут — как?

Юрий Алексеевич побагровел и брезгливо отодвинул лист:

— Это — меня не касается.

СХВАТКА С ГЕНЕРАЛОМ

Из статьи капитана Ю. Абрамова «...ФАЗЕНДЕЙРО В ЛАМПАСАХ» («Часовой Севера», 9 июля 1991 г.):

«В выходные дни пять молодых солдат ударно потрудились на «фазенде» генерал-майора С. Мельникова. Вместо того чтобы отдохнуть после напряженной недели, посмотреть телевизор, сходить в увольнение, солдаты вели бой за будущий урожай на генеральских грядках... Одна деталь: генерал Мельников сам курирует эту часть. И если уж для него солдаты — всего-навсего дармовая рабсила, о какой нравственности вообще может идти речь?»

Совет офицерского собрания осудил и эту публикацию, а прокуратура возбудила против генерала новое уголовное дело.

С номером того «Часового», где майора сменил капитан, я и вошел в кабинет Мельникова.

Сергей Игоревич был приветлив, но пальцы его подрагивали, когда он протягивал ту или иную бумагу, доказывающую, что все приведенные в газете сведения — вымысел и фальшивка.

На столе перед ним лежали страницы незаконченной рукописи — продолжает работать. Вчера он давал мне ее почитать. Это его, совместное с Кроминым, письмо в главкомат, где черными чернилами авторучки излагаются многочисленные факты должностных прегрешений Колтунова. На каждой (иногда неполной) странице — по факту. Ого, подивился я, ничего себе компромат.

А ведь считались когда-то товарищами...

Многое тут можно было бы поведать, но лучше передам слово осведомленному более меня.

Из рукописи О. Мильчакова «ЧЕСТЬ — ПО ЧЕСТИ?»:

«Вернувшись из очередной инспекторской командировки, генерал Мельников доложил о ее результатах не все. Дополню отсутствующее.

Вот передо мной рапорты, из которых явствует, что замначштаба, пользуясь служебными возможностями, два дня барражировал на вертолете в пригграничной полосе, приказав не сообщать на КП о полетах, и вернулся домой с мешком красной рыбы.

Вспомним, к каким выводам не так давно пришла специальная комиссия:

«Ежедневно регистрируются нарушения порядка использования воздушного пространства СССР. Это и полеты без заявок, и несвоевременные доклады по оперативной линии о вылетах, и многое другое, что заслуживает самого серьезного внимания компетентных служб».

Замечу: «без заявок», «несвоевременные доклады»... Не то ли это и есть, что безнаказанно позволяет себе наш командированный для наведения порядка командир?

А вот рапорт, от которого леденит:

«При посещении подразделения генерал-майор Мельников в присутствии всех офицеров посоветовал мне застрелиться... Если бы у меня было оружие, то его совет я бы привел в исполнение».

Не спорю, может, действительно «разнос» кому-то и полагался. Но нельзя не учитывать специфику службы в глуши. Об этом и главком говорил, что за свои более чем полвека в армии он «не видел такой нищеты, как... на отдаленных точках ПВО... Впечатление гнетущее... Техника-то отличная, а вот отношение к людям — никудышное, я бы даже усилил — дикое отношение».

Прав главком: такой генерал — дикарь.

Горек вкус у критики, как у всякой лекарственной пилюли. Но глотать надо. Ведь если человек отказывается от лечения, его недуг прогрессирует.

Не первый раз пишу о генеральских выходках и полагаю: расправа не за горами.

Только разве забыто, как прежний министр обороны, пока Руст готовился к полету, гонялся за журналистами, пытавшимися сказать правду об истинном положении в армии? Или нужен нам новый позор?..»

Эта статья осталась неопубликованной (почему — о том ниже), но коекакие факты, уже обсуждаемые в городе, «распушила» областная печать. И ответная реакция оказалась незамедлительной.

На тотчас же созванном офицерском толковище — и опять зал топал ногами! — была вынесена списанная под копирку резолюция о том, что «на страницах газеты периодически печатаются материалы, направленные на подрыв доверия северян к армии, разжигающие нездоровые антиармейские настроения».

Странная укоризна. Ведь если раз за разом отвергается публицистическое «врачевание», а Мельников и ему подобные продолжают «болеть» беззаконием, то «нездоровые настроения» внутри гарнизона, а не в стенах редакций.

Но по-прежнему угодливо отметается от зараженных мундиров хлорка критики: «Собрание постановляет рекомендовать генералам Кромину Г. В. и Мельникову С. И. возбудить судебный иск к автору статьи... и оказать им в этом моральную поддержку и материальную помощь».

Не знаю, как материальную, а моральную подмогу генералы получили сполна. Однако исковое заявление в суд так и не подано. Понимают, что процесса не выиграть?

НА КАКОЕ УХО ГЛАВКОМ ТУГОВАТ?

«Коммуниста Мильчакова отличают чувство неприятия несправедливости, способность серьезно, по-деловому разрабатывать ту или иную тему, качественно готовить материалы к печати, проявляя при этом творчество, инициативу... Умеет доказательно, аргументированно отстоять свою точку зрения».

(Из характеристики.)

«За проявленные трусость, малодушие и нечестность, позорящие честь и достоинство советского офицера, возбудить ходатайство об увольнении с действительной военной службы майора Мильчакова О. А.». (Из решения суда чести.)

...Успокоившийся было зал возмущенно взорвался опять, едва я упомянул о «Шереметьево-3», как назвали Красную площадь столичные остряки.

Кричали со всех сторон, будто камни метали:

— Сколько можно на этом спекулировать?! Да сядь тот мальчишка хоть в Клину, хоть у нас, никто б и не ахнул.

— Неужели непонятно, что «Сессну» пропустили не генералы Кромин и Мельников, а вся государственная система целиком? Наше дело — отразить воздушную массированную атаку, «комаров» пусть ловят другие.

— И сначала РЛСы повсюду расставят квадратно-гнездовым способом! И новые, современные!

— Товарищи, все помнят, как кубинский летчик на боевом самолете перелетел в США, и ни один локатор его не «взял»? Так вот, никакого снятия с должностей и прочего тогда не последовало. Просто сенат на очередном заседании постановил выделить дополнительные ассигнования на ПВО. (Одобрительный смешок.)

— Правильно, и довольно хаять людей. Войска задачу выполнили — цель обнаружили и вышли на перехват. А в том, что не сбили, виновата политика, насаждавшаяся в армии и отчасти еще сохранившаяся. Если бы люди не боялись принимать атакующее решение, от куренка и перьев бы не осталось.

Мельников вымученно:

— Тихо, тихо! Будь цель поражена, куда больше папах поснимали б... Ладно, заканчиваем встречу на этом.

Будто в чем уличенный, боком-боком я выбрался в коридор.

А из кабинета в кабинет продолжали передавать, как листовки, еще утром записанную от руки с телефона часть статьи из сегодняшних московских «Курантов», касавшуюся «непотопляемого Мельникова». Прочитавшие собирались группами и вполголоса обсуждали, где пересмеиваясь, где потрясая кулаками. Пересмеивались, заметил, или молодые лейтенанты, или матерые полковники. Хорошенькая иллюстрация морально-политического единства офицерского корпуса...

А как на верхнем этаже?

17 июня главкому войск ПВО генералу армии Третьяку передали быстро разбухшую кипу бумаг по майору Мильчакову. Допускаю, что Иван Моисеевич разложил ее на две кучки, и, если это так, то справа остались три документа — решение суда чести, посланное ему вдогон обращение членов офицерского собрания управления отнюдь не с просьбой помилосердствовать и представление командующего соединением на увольнение журналиста. Слева же... Тут долго перечислять, но все в защиту опального корреспондента. Это и предложение старшего инспектора военно-политического управления войск ПВО, и коллективные протесты, и копии депутатских запросов, и индивидуальные обращения.

И отдельно — особое мнение заместителя командующего соединением генерала Колтунова:

«Категорически не согласен с решением суда чести старших офицеров. Наказание, примененное к Мильчакову, не соответствует тяжести нарушения».

Какое же «большинство» услышано будет на этот раз — зависимых по службе от Кромина и Мельникова или не зависимых ни от чего, кроме совести?

И утвердить, и смягчить представление было в воле главкома. Мог он и переждать, как уже полгода не дает хода постановлению прокуратуры о передаче материалов на Мельникова в суд чести. Да, наконец, отечески пожалеть — все-таки суворовец, отличник, сын погибшего командира полка, двадцать лет отдано службе, двое детей, и без выходного пособия, без пенсии — на улицу?

Круто, конечно, с одной стороны. А с другой... С другой — эти борзописцы столько крови попортили Ивану Моисеевичу, вымеривая шагами длину забора вокруг его дачи да подсчитывая на калькуляторах, какие суммы он недоплачивает за покупки. И еще спецкора из беды вытаскивать? Нет уж, сынок, извини.

И не дрогнула рука главкома ровно через неделю, зная, что это 33-й день рождения майора, легким росчерком сделать его бывшим.

Командованию, стало быть, больше подходят мельниковы.

И продолжаются топот и рев на мильчаковых: «Такие — армии не нужны!»

Армия, что с тобой?

P. S. Статья была в наборе в то время, когда стремительно набирали оборот события 18—21 августа. Втянутыми в них оказались и персонажи описанного конфликта. В предыдущем номере журнала (см. стр. 8) уже сказано о соучастии в государственном перевороте генерала армии Третьяка И. М., генерал-майора Мельникова С. И. И лишь народные депутаты РСФСР генерал-майор Колтунов А. Б. и Гуськов Ю. А. категорически отказались содействовать в перекрытии каналов связи и телевидения, что отметил во «Взгляде» А. Любимов.

А когда полковник Янковский (тот самый председательствующий суда чести) тиражировал документы ГКЧП и во исполнение последних рассылал шифрограммы (23 августа предприняв попытку их уничтожения), Олег Мильчаков находился на митинге против заговорщиков в Ленинграде, откуда передавал сообщения в средства массовой информации. Успел он и на баррикады у парламента России. Хоть и бывший, майор был опять на посту.



ПРЕДСТАВЛЯЕМ АССОЦИАЦИЮ «ТРЭЙДБРОК ЛИМИТЕД»

Прежде всего — несколько слов об основателях брокерской фирмы «Трэйдброк». Это высокопрофессиональный и компетентный коллектив выпускников Московского физико-технического института, традиционного «гнезда» научных кадров элитарного качества.

До сих пор, считают руководители ассоциации, отечественные брокерские конторы, создаваемые, как правило, мощными организациями, были заняты продажей на биржах своей продукции. Главная же задача брокерской фирмы — это работа с клиентом, то есть умение предоставить информацию о наиболее выгодных вариантах сделок, умение быстро продать товар клиента, а также умение быстро и недорого купить все, что нужно клиенту.

ТОВАР «ТРЭЙДБРОК ЛТД» — ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ!

Специальность большинства работников брокерской фирмы «Трэйдброк» — управление и прикладная математика, первое место работы — научный центр «Микроприбор», который также занимается управлением и созданием информационных систем. Естественно, что своей целью ассоциация ставит создание сети межбиржевой информации, без данных о ценах, наличии товара, возможностях его купли и продажи с максимальной выгодой для клиента. Ассоциация «Трэйдброк» имеет для этого все возможности. Она владеет брокерскими местами на Российской товарно-сырьевой, Тюменской товарно-фондовой биржах. Установлена модемная связь с основными биржами крупных регионов страны.

БИЗНЕС «ТРЭЙДБРОК ЛТД» — АНАЛИЗ ЦЕНОВОГО РЫНКА, ПРЕДВИДЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СИТУАЦИИ!

«Трэйдброк» не гонится за высоким процентом со сделок. Фирме выгодны большие объемы продаж. Прибыль фирмы прямо пропорциональна прибыли ее клиентов. Сегодня ими являются ассоциация «Комплексные системы», научно-информационный центр «Микродин», научный центр «Микроприбор», дилер южнокорейской компании «SAMSUNG» — «Фонон интернэшнл лимитед», немецкая компания «Soemtron» и другие известные в стране и за рубежом фирмы.

ЗАДАЧА «ТРЭЙДБРОК ЛТД» — СДЕЛАТЬ ПАРТНЕРА ДРУГОМ, СЛУЧАЙНОГО КЛИЕНТА — ПОСТОЯННЫМ

Результат появляется только после тщательной и добросовестной работы с клиентом — такова философия фирмы «Трэйдброк», ведь от этого зависит прибыль брокера, чья обязанность знать все о потенциальных партнерах. «Трэйдброк» не имеет касательства к товару, его хранению и доставке. «Трэйдброк» знает, где и что выгодно купить сегодня. «Трэйдброк» может составить большую партию товара из множества малых и организовать его получение «с колес».

**КТО-ТО ХОЧЕТ КУПИТЬ ДЕШЕВЛЕ,
КТО-ТО — ПРОДАТЬ ДОРОЖЕ,
КТО-ТО НУЖДАЕТСЯ В ЛУЧШЕМ КАЧЕСТВЕ...
У ВСЕХ — РАЗНЫЕ ЗАДАЧИ.
ДЛЯ ИХ РЕШЕНИЯ ВАМ НУЖЕН «ТРЭЙДБРОК»**

Вы тоже хотите знать это? Вы выходите на рынок? Вас интересуют потенциальный партнер и его возможности? Вы собираетесь выставить свой товар на биржу?

ТОГДА «ТРЭЙДБРОК» — ТО, ЧТО ВАМ НУЖНО!

АССОЦИАЦИЯ «ТРЭЙДБРОК ЛИМИТЕД» ЗАЯВЛЯЕТ: «В ВАШЕМ БИЗНЕСЕ ВАМ НЕ ИЗБЕЖАТЬ КОНТАКТА С НАМИ. МЫ РАДЫ ЭТОМУ И ПРИЛОЖИМ ВСЕ УСИЛИЯ, ЗНАНИЯ И ОПЫТ, ЧТОБЫ ЭТОТ КОНТАКТ СТАЛ ПОСТОЯННЫМ!»

«ТРЭЙДБРОК» ЖДЕТ ВАС

По адресам: г. Москва, ул. «Правды», д. 2а, 2-й подъезд, кв. 17; Москва, Институтский переулок, д. 16, к. 4.

ТЕЛЕФОНЫ: 522-24-72, 284-30-24
ТЕЛЕФАКС: 250-50-67

**УЗНАТЬ — ЗНАЧИТ ПОВЕРИТЬ.
ПОЗНАКОМИВШИСЬ С АССОЦИАЦИЕЙ «ТРЭЙДБРОК», ВЫ НЕ СТАНЕТЕ ИСКАТЬ ЛУЧШЕГО ПАРТНЕРА!**



ЭСКАРТ



Евгений ФЕДОРОВСКИЙ

СВЕТОПОКЛОННИК КУЧЕРОВ



Как, наверное, и все мы, Владимир Кучеров фотографировать начал только потому, что купил фотоаппарат. Но со временем популярное развлечение стало страстью, обрекающей человека на бессонные ночи. «Я печатал до утра, и если хоть один отпечаток удавался со всех точек зрения, чувствовал себя совершенно счастливым». В этих невидимых миру маленьких подвигах прошло два года: снимал, печатал и... никому не показывал. Сейчас, когда срок добровольного





«карантина» давно истек и успешно выдержан экзамен у широкого зрителя, рассказывать о своих началах Владимиру легко.

Два обстоятельства, на мой взгляд, помогают развиваться этому интересному мастеру светописи из Улан-Удэ. Во-первых, он фотограф-путешественник, берущий уроки света и цвета непосредственно у природы. Во-вторых, по основной специальности Кучеров театральный работник, вхожий по необходимости к артистам, художникам, скульпторам, музыкантам,— общение с этой средой обогащает знания, совершенствует вкус. Не случайно, работая в излюбленных своих жанрах — пейзаже, портрете, обнаженной натуре, Владимир Кучеров не испытывает затруднений в выборе темы и художественных средств. Его работы — живописные, экономные, искренние — органично входят в наш мир, чтоб если не спасти, то хоть как-то помочь ему.



ОТЧАЯНИЕ

СПЕЦРЕЙС В НКАО

Константин СМИРНОВ,
специальный корреспондент
«Огонька»
Фото Марка ШТЕЙНБОКА

«Для немедленного распространения.

Нью-Йорк, 11 июля 1991 года. Первая международная делегация по правам человека получила разрешение на посещение конфликтных районов в Армении и Азербайджане. Группа прибывает в Москву 13 июля. Возглавляемая леди Кэролайн Кокс, заместителем спикера британской палаты лордов, группа получила разрешение посетить Степанакерт и изучить ситуацию в прилегающих селах. Делегация встретится с азербайджанскими официальными лицами в Баку и Нагорном Карабахе для обсуждения событий в регионе, в частности фактов насильственной депортации из ряда армянских поселений в последние недели.

Группа, в состав которой входят специалисты по правам человека из Соединенных Штатов, Соединенного Королевства, Советского Союза и Японии, уже посещала с той же миссией названные республики в конце мая. Тогда делегации была предоставлена возможность встретиться с армянскими заложниками, захваченными в Азербайджане, и изучить положение с соблюдением прав человека, включая факты депортации. В составе делегации: леди Кэролайн Кокс — заместитель спикера палаты лордов британского парламента (Соединенное Королевство); Филис Гаэр — исполнительный директор Международной лиги по правам человека (США); Скотт Хортон — юрист, партнер фирмы «Паттерсон, Бэлкнап, Уэбб и Тайлер» (США); Дэвид Леопольд — адвокат фирмы «Уэстон Хард, Фаллон Пэйсли и Хоуки» (США); Шиничи Масагаки — МСК Исследовательский институт (Япония); Малкольм Пирсон — палата лордов британского парламента (Соединенное Королевство); Алексей Семенов — эксперт (США); Роберт Арсенал — консультант по американо-советским культурным связям (США).

Международная лига по правам человека».

АЭРОПОРТ

— Всем оставаться на местах!!! Старший группы — ко мне!!!

Этот окрик исходил от человека в милицейской форме с характерной кавказской внешностью, внезапно появившегося на откидном трапе нашего самолета. В салоне, до этой минуты гудевшем английской, русской и армянской речью, в мгновение ока наступила мертвая тишина.

Я стоял первым у выхода на трап, и, стало быть, именно на меня смотрел черный глазок автоматного ствола — палец милиционера лежал на спусковом крючке. Внутри возникло неприятное чувство с каким-то физически ощущаемым вкусом.

— А в чем дело? — изумленно осведомился я.

В ответ меня несильно ткнули автоматом куда-то в область паха, а в густом воздухе снова прозвучало:

— Я сказал! Всем оставаться на местах! Старший группы — ко мне!

— Я — зам. исполнительного директора оргкомитета сахаровского конгресса Константин Смирнов,— отрекомендовался я, глядя на темную дырочку известного всему миру калибра.— В чем дело?

— Кто в самолете? — почему-то с ненавистью спросил начальник.

— В самолете — международная делегация экспертов сахаровского конгресса. Глава делегации — заместитель спикера британской палаты лордов баронесса Кокс... Да уберите вы автомат свой! — не выдержал я.— Как можно направлять оружие на живых людей?!

«ИЗ ОТЧЕТА О ПОЕЗДКЕ. Делегация Первого Международного конгресса памяти Андрея Сахарова получила любезное разрешение от правительств Армении и Азербайджана посетить эти республики и по приглашению Председателя Верховного Совета Азербайджанской республики г-на Муталибова посетила также районы Нагорного Карабаха и ознакомилась с существующей там ситуацией...»

— А эти кто? Тоже «эксперты»? — с ухмылкой кивнул он на пятерых пассажиров-армян, летевших с нами из Еревана.

— Это пассажиры! Да придите вы в себя! Вы что, с луны свалились? Мы же только вчера были здесь, в Степанакерте! Где ваше начальство? Да пропустите же наконец! Мы будем жаловаться Поляничко!

Эта фамилия на какое-то мгновение смутила милиционера, мне удалось боком проскользнуть мимо автомата и сбежать по трапу на залитый полуденным солнцем бетон аэродрома Ходжалы, как с некоторых пор называется степанакертский аэропорт.

Но едва я оказался на земле, как обнаружил, что наш самолет окружен цепью плотных высоких мужчин в темных комбинезонах и маскхалатах, заправленных у кого в высокие кованые ботинки на шнуровке, у кого в фасонистые короткие сапожки типа «джимми», у кого доходящих до стоптанных кроссовок, никак не вязавшихся с их воинственным, угрожающим видом. Таким образом, я немедленно очутился в перекрестье директрис полутора десятков АКМов, наставленных на меня этими спортивными парнями. Честно говоря, я решил, что все происходящее попросту снится мне, поскольку, объехав за двадцать лет занятий журналистикой практически всю страну, ни разу не попадал в подобные переплеты.

Однако очередной приказ, столь же бесповоротный и резкий, как и прежний, вернул мне чувство реальности:

— Прекратить фотографирование!

Обернувшись, я обнаружил, что следом за мной самолет покинул Вон Смит — кинооператор, сопровождавший нашу группу и снимавший фильм об этой поездке. Никогда не расставаясь с компактной видеокамерой, он, мгновенно сориентировавшись, расчехлил объектив и принялся за дело, хотя, пожалуй, лишь для него ситуация в какой-то мере была привычной: Смит несколько раз бывал в Афганистане и снимал войну со стороны моджахедов. Но не тут-то было — кряжистый мужчина в маскхалате с коротким ежиком светлых волос накрыл объектив широкой ладонью.

— Сказано, прекратить фотографирование!

Тем временем, преодолев первую преграду, на землю стали спускаться остальные члены нашей делегации и пассажиры. Но если для первых все происходившее было в диковинку, то последние воспринимали обстановку с покорностью людей, многократно испытавших на себе подобное обращение.

Далее события развивались следующим образом.

Омоновцы — а это был азербайджанский ОМОН, контролирующий аэропорт,— едва ли не автоматными стволами отделили прибывших с нами пассажиров, числом пять, и повели их по направлению к какой-то загородке, как им было объявлено, для досмотра. Нас же продолжали держать под прицелом, очевидно, не зная, как поступить. Двое американцев — Филис Гаэр и юрист Дэвид Леопольд — решили понаблюдать процедуру досмотра, поскольку мы располагали свидетельствами злоупотреблений, но их не выпустили из окружения. Лорд Пирсон громко потребовал, чтобы нам была предоставлена возможность воссоединиться с нашими попутчиками, однако и он преуспел не более других.

«ИЗ ОТЧЕТА О ПОЕЗДКЕ. Для того чтобы приобрести авиационный билет из Степанакерта, необходимо дать взятку, размер которой в 10 раз превышает номинальную стоимость билета. В аэропорту Ходжалы пассажиров армянской национальности систематически оскорбляют, подвергают избиениям и унижениям. Так, молодых женщин и девушек заставляют раздеваться донага в присутствии сотрудников азербайджанского ОМОНа, отбирают деньги и ценности... 16 июля часть нашей делегации, прибывшая из Еревана в Степанакерт, была подвергнута грубому обращению служащими ОМОНа в аэропорту Ходжалы. Пятеро жителей НКАО, летевших с нами в одном самолете, по прибытии были задержаны на наших глазах. Когда мы стали протестовать, нам угрожали».

Поскольку все члены делегации были вооружены фотоаппаратами и диктофонами, все происходившее фиксировалось на фото- и магнитопленку, а Вон Смит, не глядя в видоискатель камеры, незаметно для омоновцев снимал уникальные кадры для будущего фильма. Но и парни были не промах, и потому каждый щелчок затвора или красная лампочка на камере Смита немедленно вызывали угрожающее движение или окрик.

Глава делегации баронесса Кокс с учтивой английской улыбкой осведомилась у одного из омоновцев с офицерскими звездочками на погонах, должна ли она считать себя арестованной.

Как бы в ответ на этот вопрос от группы людей, стоявших поодаль и хмуро наблюдавших за происходящим, отделился невысокий упитанный гражданин в штатском и, подойдя к нам, четко произнес:

— Я — мэр города Ходжалы, на территории которого расположен аэропорт. Ваши действия мы расценивать будем как провокацию и через дипломатические каналы нашей республики будем выражать протест вашим правительствам! Мы вас сюда не звали!

Наши ссылки на официальное приглашение Председателя Верховного Совета республики Аяза Муталибова реакции у мэра не вызвали.

— Но мы же позавчера были здесь и с вами разговаривали! — изумился я.

— Позавчера вы прилетели из Баку, а сегодня — из Еревана,— отрезал городской голова.

Происходило что-то нереальное. Буквально позавчера на этом же самом месте те же самые люди встречали нас. Но только та, позавчерашняя встреча отличалась от нынешней как день от ночи...

ГОРОД

Вылетев в девятом часу утра из Домодедова спецрейсом, любезно присланным за делегацией из Азербайджана, мы высадились в Баку в полдень и были встречены вторым секретарем ЦК компартии республики Виктором Петровичем Поляничко, являющимся одновременно председателем республиканского организационного комитета по Нагорному Карабаху, куда, собственно, и направлялась наша группа.

Дам хозяева приветствовали чудесными букетами, мужчин — рукопожатиями, после чего нас пригласили в загородную резиденцию президента, как называют здесь Председателя Верховного Совета Азербайджана Аяза Муталибова, хотя президентские выборы еще впереди.

Здесь, в прохладе внушительного особняка, состоялись встреча и беседа с руководством республики. И хотя разговор развивался по всем правилам протокола и этикета, содержание и смысл его то и дело выползали за рамки внешнего политеса.

Должен признать, что в британской палате лордов сидят неглупые люди, если, помимо всего прочего, они избрали леди Кокс заместителем спикера. Никогда не думал, что напряжение определенных частей лицевой мускулатуры, именуемое в просторечии улыбкой, может являться столь грозным оружием в политическом единоборстве. Глядя на улыбку баронессы, я неизменно вспоминал незабываемое телеинтервью госпожи Маргарет Тэтчер трем советским журналистам... Нет, не зря именно она ходатайствовала перед Ее Величеством о даровании бывшей медицинской сестре Кэролайн Кокс баронетства Куинсберри. Та же мертвая хватка английского бульдога, та же железная воля скрываются за очаровательной улыбкой леди Кокс, в которую я в тот момент окончательно и бесповоротно влюбился.

Боюсь, однако, что мои чувства едва ли разделяли наши хозяева, ибо вопросы, задававшиеся главой делегации и «сопровождавшими ее лицами», явно не вызывали ответного энтузиазма. Складывалось странное впечатление, как будто наши собеседники не совсем точно понимали смысл того, о чем мы их спрашивали, поскольку ответы были то весьма расплывчаты, то вовсе не соответствовали вопросам. Но кое-что из этих ответов все же следовало...

«ИЗ ОТЧЕТА О ПОЕЗДКЕ. Официальные лица Азербайджана, включая Председателя Верховного Совета республики Аяза Муталибова и второго секретаря ЦК компартии Азербайджана Виктора Поляничко, продолжают оправдывать эту депортацию, выдавая ее за добровольное переселение жителей НКАО. Однако мы располагаем неопровержимыми свидетельствами того, что эти акции осуществляются с применением грубой силы и оружия, приводя к убийствам, увечьям и утрате личного имущества».

Исходя из этих свидетельств, мы просили о поездке в бывший Шаумяновский район республики, где происходит депортация. Тем более что теперь отпали последние препятствия для посещения этой местности — Указом Президента Горбачева чрезвычайное положение на территории района отменено. Не могу сказать, чтобы нам отказали. Но и не разрешили. Там, мол, проходят сейчас операции по проверке паспортного режима, а раз так — безопасности

нам гарантировать не могут. Как мы ни допытывались, чем подобная проверка может угрожать безобидной экспертной группе, вразумительного ответа не последовало...

Поскольку дальнейшие препирательства могли выйти за рамки протокола — настойчивость наша и без того причиняла определенные неудобства хозяевам,— мы предпочли поблагодарить руководителей республики и отправиться на аэродром, где нас ждал самолет для полета в НКАО. Ехал с нами и Виктор Петрович Поляничко.

Через сорок минут мы приземлились в Степанакерте.

И снова букеты цветов, приветствия гражданских и военных властей, шеренга улыбающихся омоновцев во главе с их импозантным командиром капитаном Гаджиевым, отдававших едва ли не правительственные почести нашей баронессе. Через мгновение вереница машин в сопровождении охраны уже мчалась по направлению к Степанакерту.

Я смотрел на пробегавшие за окном улицы, стараясь найти в облике этого города какие-то внешние черты, соответствующие трагическим сводкам, поступающим отсюда, и не обнаруживал их. Разве что несколько фрагментов военного быта на окраине говорили о чрезвычайности ситуации. В остальном так же ходили по улицам граждане, так же скакали неугомонные дети, как в Москве или, скажем, где-нибудь в Мариуполе, разве что здесь их было поменьше, и это ощущалось... Впрочем, чем ближе мы подъезжали к центру, тем безлюднее становились прилегающие улицы, которыми пролетала наша кавалькада.

Нужно сказать, что и в скорости нашего передвижения, и в самой процедуре встречи на аэродроме — пышной, но несколько поспешной — мне отчего-то почудились некая нервозность, напряженность, словно бы царившая в атмосфере. И когда наша процессия вымахнула на центральную городскую площадь с неизбежным Лениным, мне стала понятна причина этого тревожного чувства, не покидавшего меня на протяжении дороги: здание бывшего обкома партии, ныне занятое оргкомитетом НКАО, отделялось от города витой спиралью колючей проволоки, охраняемой автоматчиками. Это была как бы осязаемая полоса отчуждения, разделявшая власть и людей.

Здесь же, под указующим вдаль перстом Ильича, по иронии судьбы толклись несколько БТРов с покуривавшими на броне солдатиками. Непокорный город, от которого бронемашины защищали металлического исполина, лежал ниже...

«ИЗ ОТЧЕТА О ПОЕЗДКЕ. Экономическая и коммуникационная блокада изолировала армянское население НКАО от Армении. Сокращение многих рабочих мест привело к резкому снижению уровня жизни. По свидетельству местных жителей пенсии и пособия на содержание ребенка не выплачиваются уже более трех месяцев. В нарушение статьи 27 Международного пакта по гражданским и политическим правам закрыта телевизионная станция в Степанакерте, вещавшая на армянском языке, что является попранием культурных прав человека».

Бок о бок с обкомом, где располагается оргкомитет во главе с Виктором Петровичем Поляничко, стоит здание облисполкома, оставшееся в распоряжении местных городских властей, которых в то же время как бы не существует — режим чрезвычайного положения лишает их властных функций. Однако же, судя по тому, что колючая проволока не включает это здание в свою жесткую окружность, оно словно бы представляет город у границы этой отчужденной территории.

Когда мы подъехали, у ступеней облисполкома горячилась толпа — человек пятьдесят — шестьдесят,— судя по всему, ожидавшая нашего приезда. Они что-то стали кричать, жестикулировать, явно желая привлечь наше внимание. Но кавалькада машин, на мгновение задержавшись у импровизированного шлагбаума, мигом проскользнула в пространство, ограниченное проволокой, и зарулила в зеленую гущу сквера у входа в обком.

Здесь нам предстояла встреча с военным комендантом Степанакерта и с руководством оргкомитета, однако же некоторые члены делегации, и я в их числе, предпочли очередной протокольной говорильне неформальные контакты с теми, кто поджидал нас по ту сторону колючки.

Под неодобрительными взглядами охраны мы благополучно преодолели это фортификационное сооружение и были сейчас же втянуты в толпу мужчин и женщин, стариков и молодых с ожесточенными и одновременно плачущими лицами. Все они заговорили одномоментно, и мне стало неотвратимо ясно, что собрать и проверить информацию у этих людей невозможно.

Как бы ни были они правдивы, как бы ни были тягостны и жестоки притеснения, которым подвергаются жители Азербайджана армянской национальности, они неминуемо будут необъективны в своем безоглядном ожесточении, как и всякий человек, лишенный властью своих исконных прав.

Здесь были беженцы из Сумгаита и Баку, из других районов республики, были те, чьи близкие содержались в азербайджанских тюрьмах, а то и вовсе безвестно исчезли. Я сознательно не называю фамилий, потому что, хотя мы и записали то, что можно было разобрать, самым страшным в этом клубке имен и несчастий, выпавших на их долю, мне показалось ощущение последней степени отчаяния, владевшее толпой, той черты, за которой уже ничего не страшно, за которой исчезает вера в самоценность человеческой жизни.

«ИЗ ОТЧЕТА О ПОЕЗДКЕ. В тюрьме города Шуша НКАО нам была предоставлена возможность встретиться с восемнадцатью заключенными армянской национальности, причем имена десяти из них были названы членами нашей группы. Все они лишены связи с близкими и не имели доступа к адвокату для получения квалифицированной юридической помощи. Некоторые из них не знали причины ареста. Один из заключенных продемонстрировал нам свежие следы избиений на теле... Кроме того, в Степанакерте мы получили убедительные подтверждения происходящих исчезновений лиц армянской национальности, чье местонахождение неизвестно родственникам пропавших... Помимо арестов и депортаций, описанных выше, армяне, живущие в Нагорном Карабахе, подвергаются постоянному давлению со стороны азербайджанского населения, представителей властей и служащих МВД Азербайджана, частей Советской Армии и ВВ МВД СССР, расквартированных в зоне конфликта».

ДЕРЕВНЯ

Через два часа мы прилетели на вертолете в азербайджанское село Карадоглы. 28 июня группа армянских боевиков, обстреляв деревню из стрелкового оружия и минометов, напала на местную ферму и угнала скотину. При этом были убиты шесть жителей села, в их числе — три женщины. Три трупа облили бензином и сожгли.

«ИЗ ОТЧЕТА О ПОЕЗДКЕ. Мы располагаем многочисленными свидетельствами жителей азербайджанских сел НКАО о притеснениях, которым они подвергаются со стороны членов армянских незаконных формирований, действующих на территории НКАО и в прилегающих районах... Многие жители... обвиняют армянских боевиков в постоянно повторяющихся обстрелах, грабежах, кражах и прочих преступлениях против личности и собственности, продолжающихся на протяжении последних трех лет».

И то же отчаяние, ту же мучительную обреченность я видел в глазах азербайджанских крестьян, все порывавшихся свести нас к свежим могилам. Здесь о стрельбе и минных разрывах говорят, как о прошедшем дожде...

А на следующий день уже в Армении мы до двух часов ночи говорили с одиннадцатью армянскими милиционерами, недавно вернувшимися из азербайджанской тюрьмы. Они несли службу в армянском селе Воскепар, когда его окружили части внутренних войск и азербайджанского ОМОНа. И хотя все одиннадцать были в форме, с надлежащими документами и табельным оружием, их разоружили, под прицелами автоматов положили на землю и избили. Потом их отправили в тюрьму азербайджанского города Гянджи под видом захваченных армянских боевиков.

«ИЗ ОТЧЕТА О ПОЕЗДКЕ. В период заключения они ежедневно подвергались избиениям, о чем свидетельствуют следы на их телах, и жестокому обращению, унижавшему их человеческое и национальное достоинство. Возмущение вызывают также обстоятельства их ареста служащими ВВ МВД СССР и этапирования на территорию Азербайджана. В разговоре с нами они описали бесчеловечные условия их содержания в тюрьме, включавшие преднамеренное лишение питьевой воды в сочетании с пересоленной пищей, что, естественно, способствовало усилению жажды».

В Армению отправилась не вся делегация — часть группы осталась, чтобы посетить в Баку Баиловский тюремно-следственный изолятор, где содержались несколько заключенных армян, чьи имена известны мировой общественности.

В столицу Азербайджана за нами прислали самолет из Еревана: это был первый гражданский борт из Армении, приземлившийся в Бакинском аэропорту за последние три года.

И вот теперь, проведя день в разъездах по Армении, мы вернулись в Степанакерт, где нас так странно встретили...

...За спинами омоновцев, не выпускавших нас с летного поля, я наконец разглядел одного из работников оргкомитета Карабаха, с которым мы накануне расстались в весьма дружественных отношениях.

На мои изумленные вопросы о причинах столь необычного поведения его подчиненных он несколько растерянно ответил, что нас ждут из Баку на самолете, который с минуты на минуту должен произвести посадку, и потому наше появление из Еревана было воспринято как гром среди ясного неба.

ОМОН тем временем продолжал действовать по-прежнему, держа нас под дулами автоматов и всячески ограничивая нашу свободу. Капитан Гаджиев, столь добросовестно позировавший нам накануне, на этот раз пригрозил отобрать аппараты и засветить пленки, если мы не прекратим съемки. Все это сопровождалось грубыми окриками, едва ли не приказами, словом, обстановка была самая дикая. Казалось, ОМОН вышел из подчинения местных властей и только чье-то более весомое вмешательство способно предотвратить назревавший конфликт.

В эту минуту из-за ближней горы вынырнул долгожданный бакинский самолет. Через несколько мгновений на трапе показались остальные члены нашей группы и с ними — заместитель премьер-министра Азербайджана Матвей Иванович Радаев.

Словно иллюзионист, одним своим появлением на поле аэродрома он как по мановению волшебной палочки изменил окружающий мир. Автоматы немедленно исчезли за спинами; вот уже улыбающийся омоновец несет на подносе ледяную минеральную воду, которой нас сейчас же начинают потчевать. Всякие ограничения на съемки были мгновенно сняты, и, подозреваю, будь здесь парочка секретных образцов новейшей оборонной техники, Смиту наверняка бы предложили зафиксировать их его замечательной камерой. Во всяком случае, ОМОН теперь был сама любезность и предупредительность.

«ИЗ ОТЧЕТА О ПОЕЗДКЕ. Мы беседовали с несколькими офицерами ОМОНа и обнаружили, что уровень их профессиональной подготовки чрезвычайно низок. Кроме того, практически весь личный состав ОМОНа, который мы опросили, состоит из азербайджанцев, покинувших Армению».

Однако, если с появлением Матвея Ивановича Радаева наше пребывание на земле НКАО и приобрело некоторые черты приятности и комфорта, то главная цель нашего повторного визита в Степанакерт вовсе не приблизилась, став, как выяснилось, еще более призрачной.

Помимо изучения ситуации в городе и прилегающих селах, помимо посещения шушинской тюрьмы, куда уже ездили несколько членов группы, важнейшей задачей делегации была проверка фактов насильственной депортации населения армянских сел в НКАО и пограничных районах республики, а этого-то наши хозяева и старались избежать во что бы то ни стало.

На все наши просьбы и уговоры Матвей Иванович и окружавшие его сотрудники, слегка поморщившись, отвечали какими-то сложноподчиненными оговорками и сложносочиненными ссылками. Снова складывался унылый диалог слепого с глухим, когда все наши доводы и настояния воспринимались собеседниками вполуха. Снова ответы имели мало общего с вопросами.

Мы хотели ехать в одно место — нас с готовностью обещали отвезти в совершенно противоположном направлении; мы хотели взять с собой вполне определенных людей из местных жителей — нам кивали, тут же предлагая услуги совсем других...

Наконец, леди Кокс удалось всучить расстроенному Матвею Ивановичу клочок бумаги с названиями двух армянских сел, откуда, по нашим сведениям, недавно депортировали коренное население. Сокрушенно попеняв нам на нашу настырность, хозяева пообещали доставить группу в один из этих населенных пунктов. Засим, разделившись на три части, мы погрузились кто в вертолеты, кто в автомобиль.

Подумавши, я полез следом за леди Кокс и Матвеем Ивановичем, отправлявшимися в пресловутые деревни.

Минут через двадцать лету наш вертолет завис над каким-то большим селом.

— Ну вот,— удовлетворенно сказал Матвей Иванович, когда мы сошли на землю,— это село Туг. Здесь живут и армяне, и азербайджанцы. Вот мы сейчас посмотрим...

— Помилуйте, Матвей Иванович,— удивился я,— да ведь нам это село не нужно. Мы вам дали совсем другие названия, а вы нас привезли в какой-то Туг?..

Баронесса, когда ей перевели суть нашего короткого диалога, сейчас же вооружилась своей улыбкой. Корректно изъявив благодарность за возможность посетить эту замечательную деревню, она тем не менее сочла необходимым напомнить Матвею Ивановичу настоящую цель нашей поездки.

В ответ последовало предложение побеседовать с местными жителями обеих национальностей. Мне пришла на память восточная поговорка бедуинов: собаки лают, а караван идет.

— Послушайте, Матвей Иванович,— безрадостно сказал я, когда мы расположились в одном из домов.— Я не понимаю, для чего вы нас мистифицируете. Ведь, подумайте сами, ваше нежелание отвезти нас туда, куда мы просили, будет истолковано однозначно. Раз не пускаете нас, значит, есть что скрывать. Ну ведь вот приедет баронесса в Лондон, придет к себе в палату лордов, а ее и спросят: была? Видела?

Она, понятное дело, ответит, что ее не пустили и вообще всячески морочили голову. Газеты это сейчас же разнесут по миру. Надо вам это? Тем более, я уверен, что ничего страшного в этих селах нет — живут себе люди и живут. Глупо ведь получается...

За время работы в партийной печати мне не раз доводилось видеть партийных работников в момент принятия ответственного решения, когда представитель вышестоящего органа отсутствует и вся тяжесть возможных последствий ложится на собственные плечи. Момент, несомненно, драматический, вызывавший у меня человеческое сочувствие. Нечто подобное происходило с вице-премьером.

— Ну хорошо, — наконец решился Матвей Иванович, — давайте сейчас оперативно слетаем в Доланлар, только быстро — времени в обрез.

Поскольку это было название одного из двух сел, указанных нами, мы с готовностью согласились и двинулись к вертолету.

Очевидно, Матвей Иванович несколько превратно понял мои слова, истолковав их как проявление интереса к сегодняшней жизни названных нами деревень. Тут он был прав лишь отчасти, поскольку, хотя опрос азербайджанского населения НКАО входил в наши основные задачи, главной миссией, повторяю, было изучение фактов насильственной депортации армянского населения из мест коренного обитания. Село Доланлар было одним из таких пунктов...

«ИЗ ОТЧЕТА О ПОЕЗДКЕ. Во время посещения членами нашей делегации бывших армянских поселений Киров (Бертадзорский район) и Доланлар (Гадрутский район) мы убедились в том, что в настоящее время население этих сел составляют исключительно лица азербайджанской национальности. Все они являются беженцами из различных районов Армении, прибывшими в Азербайджан в 1988—1989 гг.».

...Окруженные толпой жителей Доланлара, мы шли по центральной улице деревни. Молодой председатель сельсовета рассказывал о том, как они приехали сюда четыре месяца назад и нашли село опустошенным, с поврежденными домами, разбитой школой.

Намаявшись после ужаса изгнания уже в родном Азербайджане, где приходилось ютиться по углам, они надеялись здесь обрести покой, пусть и в чужих, покинутых домах. Теперь им предстоит устраивать здесь свой очаг. Эти несчастные выходцы из разных районов Армении, собранные здесь трагедией двух народов, рассказывали нам дикие подробности исхода со своей бывшей родины, а я понимал, что для них, увы, позади еще не все несчастья.

«ИЗ ОТЧЕТА О ПОЕЗДКЕ. Жители азербайджанской национальности, переселенные в село Киров (Бертадзорский район), откуда полтора месяца назад было депортировано коренное армянское население, по их свидетельствам, часто подвергаются обстрелу из стрелкового оружия и артиллерии. Иногда обстрел ведется с борта гражданских вертолетов... По официальным источникам, количество лиц азербайджанской национальности, покинувших Армению в период 1988—1990 гг., колеблется в пределах 120—200 тысяч человек. Мы беседовали со многими азербайджанскими беженцами, которые неизменно указывали на оказывавшееся на них систематическое силовое давление со стороны граждан Армении, включая официальных лиц республики, принудившее их покинуть свои жилища и оставить собственность.

В то же время мы получили свидетельства систематического заселения лицами азербайджанской национальности бывших армянских деревень НКАО, коренное население которых было вывезено в рамках проведения насильственной депортации. Эта порочная практика приводит к тому, что азербайджанские беженцы повторно оказываются в зоне продолжающегося конфликта, что является грубым нарушением фундаментальных прав человека, регулирующих процессы переселения беженцев. В случае невозможности возвращения беженцев к местам прежнего проживания им должно быть предоставлено право поселения в районах, удаленных от зон конфликта».

Но несчастье одних людей не может и не должно заслонять страданий других. Я говорю о прежних обитателях села Доланлар, оставивших свои дома.

Всю обратную дорогу я думал о них и лишь потом спросил Матвея Ивановича, куда делись коренные жители Доланлара.

Матвей Иванович, веселый оттого, что все устроилось к общему удовольствию, вдруг как-то напрягся и посмотрел на меня тяжелым взглядом — мне вспомнился в это мгновение взгляд мэра Ходжалы и его вскрик «провокация!»...

— Они уехали. Добровольно перебрались в другие районы,— после недолгой паузы услышал я в ответ.

И мне представилась картина, как в одночасье большое село в сотню, а то и больше дворов покидает насиженное место, откуда виднеется кладбище с родными могилами. Библейский исход из египетского рабства встал перед глазами — вот что такое «добровольное» переселение прежних жителей деревни Доланлар.

Нет сомнения, невозможно ни забыть, ни простить страшные обстоятельства изгнания азербайджанцев из Армении, как невозможно ни забыть, ни простить трагедии армянского населения Сумгаита, Баку, да и всего Азербайджана. Можно лишь объяснять эту горестную цепь потрясений древней религиозной враждой, раздутой грязными руками негодяев, сумевших разбудить в толпе всегда дремлющего зверя. Можно лишь пережить это, ибо другого не дано...

Но как объяснить сегодняшние факты изгнания армянского населения на территории Нагорного Карабаха, где компактно проживают десятки тысяч армян? Чем иным, кроме продуманной государственной политики, насильственно проводимой против армян НКАО, прикажете объяснять исход тысяч людей со своей родины?

«ИЗ ОТЧЕТА О ПОЕЗДКЕ. За время, прошедшее после нашего визита в мае в Армению и пограничные районы Азербайджана, напряженность в этом регионе усилилась, при этом имела место новая массовая депортация армянского населения, особенно из Шаумяновского (ныне Геранбойского) района Азербайджана. Население трех армянских деревень (Эркедж, Бузлук, Манашид) было подвергнуто депортации в период нашего визита в Азербайджан. Если депортация будет продолжаться, то между Арменией и Азербайджаном может возникнуть крупномасштабный вооруженный конфликт... В последнее время в бывшем Шаумяновском районе республики ряд армянских деревень был окружен частями Внутренних войск МВД СССР и ОМОН МВД Азербайджана и население было подвергнуто насильственной депортации... Мы располагаем многочисленными свидетельствами систематических злоупотреблений со стороны сотрудников ОМОН МВД Азербайджана, допущенных во время проведения депортации армянского населения».

Возвратившись из Доланлара в Степанакерт, мы снова собрались все вместе и, загрузившись в самолет, через сорок минут были в Баку. Тут уже стоял «под парами» московский рейс, и в полночь того же дня вся делегация и «сопровождавшие ее лица» были в Москве.

Я отправился домой, а члены группы во главе с неутомимой леди Кэролайн засели за отчет о поездке, фрагменты которого я привел в этом материале. В полдень следующего дня была объявлена пресс-конференция по результатам этой поездки, и им предстояло трудиться всю ночь. Мы оставили их наедине друг с другом. Таким образом, объективность была соблюдена полная — отчет подписали только независимые эксперты.

Но поскольку я тоже имел возможность наблюдать и делать определенные заключения, хочу воспользоваться случаем и прояснить некоторые неясности, ускользнувшие, на мой взгляд, от внимания экспертов именно в силу их независимости...

Существует, кажется, ряд фактов и факторов, которые при осмыслении выстраиваются в весьма логичную систему.

Когда проект нового Союзного договора был покрыт еще дымкой тумана, президент Азербайджана (хотя, повторяю, выборы еще только предстоят) Аяз Муталибов едва ли не первым заявил о готовности республики подписать его, в то время как Армения на тот момент воздержалась от этого шага. Не забудем, что А. Муталибов является и первым секретарем ЦК компартии Азербайджана, а в Армении компартия как бы «отошла от дел».

Нужно ли в этих условиях удивляться тому, что генеральный секретарь одноименной партии, он же президент СССР Михаил Горбачев наделил своего единомышленника не только определенными партийными полномочиями, но и живой силой в виде Советской Армии и Внутренних войск МВД СССР и что сила эта, благодаря корпоративной солидарности двух президентов, используется против отколовшейся беспартийной Армении, точнее, против представителей этой нации?

Под предлогом борьбы с армянскими боевиками наши солдатики очищают армянские деревни от жителей, родившихся и выросших на этой земле, и освобождаемые таким образом населенные пункты немедленно заселяются азербайджанскими беженцами из Армении. Допустимо ли устраивать судьбу одних несчастных, плодя других? И как тут быть с общественной нравственностью? При том, что я не сомневаюсь в существовании армянских боевиков, боюсь, что число их далеко от количества депортированных армян, попросту выброшенных из своих домов. Однако практика эта продолжается, и руководит ею, как ни странно, второй секретарь ЦК компартии Азербайджана Виктор Петрович Поляничко.

Виктор Петрович — царь и бог в Карабахе, но, поскольку с некоторых пор партийный пост не всегда является гарантией властных полномочий, он занимает председательское кресло оргкомитета по НКАО. Выше в Нагорном Карабахе только горы и Господь Бог.

Виктор Петрович Поляничко вообще-то фигура известная. За плечами — три с лишним года в Афганистане, работа в качестве советника Кармаля и Наджибуллы. А до этого — Москва, аппарат ЦК КПСС. Очевидно, две эти сочные детали в биографии Поляничко и были решающими для полководцев из штаба коммунистов на Старой площади при выборе кандидатуры наместника НКАО. Именно он стал своеобразным символом корпоративной смычки двух президентов или, вернее сказать, двух партийных руководителей, о которой я говорил выше. Однако у меня лично есть большие сомнения в том, что стратегический афганский опыт Виктора Петровича спасет положение, если насильственная депортация не прекратится. В Азербайджане, правда, уверены, что конфликт затухает, а с возможными осложнениями справиться будет нетрудно. Но я хоть и не независимый эксперт, а согласен с ними: не оружие, не сила, а справедливость и разум необходимы этой несчастной земле, этим изверившимся людям.

Иначе — про́пасть.

БАКУ — СТЕПАНАКЕРТ — ЕРЕВАН — МОСКВА.

POST SCRIPTUM. Материал этот писался в начале августа и должен был появиться в журнале в последней декаде лета. Государственный переворот 19 августа отодвинул его на сентябрь и, кроме того, внес серьезные изменения в обстоятельства, описанные на этих страницах. Кроме одного — важнейшего: в Карабахе по-прежнему продолжается геноцид армянского населения...

За исключением некоторых регионов Средней Азии, Азербайджан на сегодняшний день представляет собой уникальный остров коммунизма, все еще управляемый «умом, честью и совестью», исчезающими на остальной территории бывшего СССР. Президент Муталибов, на самом деле таковым не являющийся, как известно, поддержал «великолепную восьмерку» негодяев, встав таким образом в их доблестные ряды. Впрочем, вполне возможно, что это не слишком дальновидное решение было принято так называемым президентом не совсем единолично.

Когда мы были в Азербайджане, некий господин, имеющий доступ в «высшие» сферы, фамилию которого я оставляю за кадром, сообщил мне в доверительной беседе, что Аяз Муталибов, по сути, является марионеткой. Виктор Петрович Поляничко — вот кто истинный хозяин положения.

Отправленный в азербайджанскую командировку со Старой площади, Виктор Петрович сегодня на свой страх и риск конструирует политику умиротворения в Азербайджане, поскольку Старая площадь — понятие, ныне устаревшее. Написав «в Азербайджане», я не оговорился — речь идет уже не только о Карабахе, но и о мятежном Баку, ибо и здесь вовсю «гуляет» ОМОН. Во время разгона демонстраций и митингов сторонников Народного фронта Азербайджана удалые омоновцы мужественно увечат женщин, детей и стариков, не говоря уж о мужчинах.

И уж совсем легко вообразить современную ситуацию в НКАО. По последним сведениям, 4-я армия, щедро подаренная еще до переворота Виктору Петровичу, отказывается выполнять распоряжения центральных командных органов. По армянским селам в Карабахе ведется нещадный обстрел из тяжелой артиллерии. ОМОН грабит, насилует и калечит сотни людей, имевших несчастье родиться на этой земле. Депортация армянского населения не только не прекратилась, но приняла обескураживающие масштабы. Очевидно, Поляничко и Муталибову не дает покоя фраза их приснопамятного единоверца: мы уйдем, но так хлопнем дверью, что мир содрогнется...

Что в этих условиях будет делать наш новообращенный президент, так легкомысленно вооруживший азербайджанскую партбанду, какие действия предпримет Армения в ответ на откровенный геноцид, почему, наконец, так безразлично молчит победившая Россия — об этом можно только гадать в наше невероятное время, ежеминутно разрушающее старые идолы. И все же одну надежду рискну высказать: я надеюсь на азербайджанский народ.

Сегодня мы наконец осознали себя людьми. Мы поняли, что история должна твориться нашими руками. События, происходящие в эти дни в Баку, говорят о том, что и в Азербайджане начался тяжкий процесс прозрения — власть на острове коммунизма трещит и шатается, и я не поручусь, что, когда вы будете читать эти строки, тандем Муталибова — Поляничко все еще будет на дистанции. И если суждено моим надеждам сбыться, если придут на смену новые люди, дай им Бог мудрости и спокойствия, человечности и добра, чтобы навсегда остановить вал ненависти, катящийся по этой земле.



«ДЛЯ ПАРТИИ ЭТО БЫЛА КАТАСТРОФА...»

НА ВОПРОСЫ «ОГОНЬКА» ОТВЕЧАЕТ СЕКРЕТАРЬ ЦК КПСС, ЧЛЕН ПОЛИТБЮРО, НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ СССР Г. В. СЕМЕНОВА

Августовский путч словно бы взорвал изнутри Россию, всю страну. Дай Бог, чтобы больше не пролилась кровь.

Журналисты России и других стран, работая в эти тяжкие дни в самых опасных зонах Москвы, радовались человеческой солидарности, единству людей, вставших на защиту демократии... И в первые дни после победы было как-то неловко говорить о другом... Да, отряды самообороны мужественно вели себя в дни путча. Но кто из корреспондентов, даже народных депутатов, не испытал на себе хамства, когда требовалось пройти в парламент? Не спасали ни авторитет издания, ни официальная аккредитация. Демократия к нашей общей радости победила. Но для того ли, чтобы возбужденная толпа крушила памятники, била стекла, провоцировала охрану КГБ и Петровки, 38?.. Да, главари переворота под арестом. Но уже началось давление на тех, кто не нашел в себе смелости пойти навстречу танкам с российским флагом... К сожалению, карающий меч революции, кажется, занесен не только над перепуганными партаппаратчиками среднего звена, но и над рядовыми коммунистами, многие из которых вынуждены сегодня прилюдно давать отчет, что они делали в дни путча.

Бывшие члены КПСС хвалятся нынче датой выхода из партии — чем раньше вышел, тем как бы и почетнее. Снова, как бывало, заскрипели перья: пишутся в прокуратуру доносы. Не остановиться — покатится по стране волна морального террора по отношению к тем, кто не сдал партбилет, не покаялся публично, не посыпал голову пеплом или вовремя не застрелился...

Не хватит ли?

Россиянам на протяжении всей истории было свойственно милосердие и снисхождение к побежденным. Нам не стать цивилизованной нацией, если вместо долгожданной свободы наступят отчаяние и страх. Если не предательство, не измена, а инакомыслие станет караться, как в годы коммунистического тоталитаризма.

Именно таким образом рассуждая, мы решили встретиться с Г. В. Семеновой, бывшим секретарем ЦК КПСС, членом политбюро, испытавшей на своем недолгом опыте трусость и коварство высшей партийной элиты, ее подлые нравы.

Галина Семенова, с которой никак не вяжется образ «партийной дамы», вроде Фурцевой или Бирюковой, оказалась едва ли не единственным руководителем КПСС, кто в достаточной мере достойно повел себя в тяжелой обстановке фашистского переворота. Мы не щадили ее, задавая неприятные вопросы. Она не щадила себя.

— Галина Владимировна, когда и как вы узнали о том, что в стране совершен государственный переворот?

— 18 августа я готовилась к командировке в Казахстан на съезд женщин. И поздно вечером мы вылетели в Алма-Ату вместе с Федуловой, председателем КСЖ. Еще не было 9 часов по местному времени, когда в мой гостиничный номер вошли женщины и сказали: «Включите радио, в стране переворот». Это было для меня как удар грома. Я не поверила, подумала, что налицо очередная дезинформация. Поехала в ЦК компартии Казахстана, стала звонить в Москву. Ни по одному телефону пробиться на Старую площадь было невозможно. Шенина и Дзасохова тоже на месте не оказалось или не соединяли. Я знала, что Ивашко в больнице, ему только что сделали операцию на щитовидной железе. Наконец дозвонилась до собственной приемной, откуда мне и сообщили, что сейчас идет секретариат. «Позовите кого-нибудь из секретарей,— попросила я,— нужно узнать, в чем дело». Никого не позвали. «Тогда,— сказала я дежурному,— зайдите на совещание, скажите, что звонит Семенова из Алма-Аты, пусть посоветуют, как мне поступать в такой ситуации». После некоторого ожидания мне сообщили: «Тут вам надо решать самой».

Самолет на Москву был вечером, поэтому я пошла на собрание партхозактива, которое проводил Назарбаев. Президент Казахстана заявил, что к республике переворот не имеет ника-

кого отношения, и пообещал выступить по местному телевидению. Он заявил, что по-прежнему стоит на страже интересов своего народа и самостоятельности республики. Потом Назарбаев сказал: «Вот тут Галина Владимировна из Москвы...» Я встала и сказала: «Допускаю, что в стране идет разгул преступности, сложно обстоит дело с подписанием Союзного договора. Все так. Иной вопрос — о конституционности происходящего». Я также добавила, что партия не имеет к перевороту никакого отношения. Тогда, 19 августа, это было мое совершенно искреннее убеждение. Поддержала Назарбаева. Поздно ночью прилетела в Москву. Туман, танки на шоссе... Это была ночь с 19-го на 20-е...

— А вам не пришло в голову выйти из машины, спросить офицеров, как народный депутат, кто именно приказал двинуть бронетехнику в столицу и что все это означает?

— Нет. Утром я пришла на работу. Первое, что увидела на столе,— две пухлые папки с надписью «Аппарат Президента СССР». В одной из них были документы, принятые ГКЧП, в другой — целая куча откликов с мест на «долгожданное событие». Документы я читать не стала, ибо они мне уже надоели в радио- и телевариантах. Отклики полистала. Шквал «одобрямса» отовсюду. Новую власть поддерживали трудовые коллективы и семьи, немало было и личных посланий... Ну, вы понимаете, что по вполне определенным соображениям мне бы не хотелось конкретизировать имена и адреса... Позвонила Дзасохову. Тот сказал: «Подожди, скоро должен приехать из больницы Ивашко». Из разговора с ним я поняла, что накануне, 19-го, когда проводился секретариат, на нем не было не только меня — ни Ивашко, ни Лучинского, ни Гиренко. И о чем они там говорили, до сих пор неизвестно. Наконец 20-го было решено провести еще один секретариат, уже в присутствии меня и Лучинского, который прибыл из отпуска, но по вполне понятным теперь причинам без Шенина и еще кое-кого.

Собрались в кабинете Ивашко. Засели. И вот тут сработало одно из правил аппаратной игры: индивидуальных решений нет, принимаются коллегиально, при полном согласовании. Начали обсуждать, пошел провал за провалом. Все почему-то пришли к выводу, что оценку событиям должно дать политбюро, личной ответственности никто не пожелал на себя взять. В том числе, к сожалению, и я. Тем временем уже пошли звонки со всего Союза, кое-где на местах уже спешили одобрить события, как в старые добрые времена. Надо было спешить. Однако секретариат будто бы не торопился. После долгих дебатов был наконец принят текст проекта. Его решили направить всем членам политбюро в республики для дальнейших согласований и дополнений... У меня, к сожалению, не сохранился текст. Помню, что там не было одобрения хунты. Это была как бы нейтральная позиция. Ни одобрения, ни отмежевания. Говорилось о том, что нельзя допустить кровопролития. Выражалась надежда, что генеральный секретарь жив и скоро вернется... То есть соорудили пробный шар для того, чтобы проверить точку зрения членов политбюро на местах. Было опасение, что некоторые из них уже успели заявить о своей позиции до нас. Насколько я затем поняла, текст вернулся на Старую площадь с совершенно противоречивыми дополнениями. За кого я могу поручиться, так это лишь за первого секретаря ЦК компартии Эстонии Силлари. Он мне по телефону сказал: «Я — за категорическое отмежевание!» Я сказала, что тоже и будем на этом стоять.

— Так все-таки удалось принять какой-нибудь документ?

— Да, это требование «немедленной встречи» с Горбачевым. И никакого пленума без него не проводить. После этого Дзасохов поехал согласовывать данное решение в Барвиху, к Ивашко, который проходил в санатории лечебные процедуры. Однако в тот день документ так и не попал в печать. Почему? Трудно сказать... Возможно, его приняли дальше согласовывать — это уже меня лично не касалось. Документ был прочитан по радио. Теперь требовалось определить, кто полетит на встречу с Горбачевым. Ивашко принялся за переговоры с хунтой. «Партии там делать нечего»,— ответила ему «восьмерка». Однако Ивашко продолжал «бомбить» звонками заговорщиков, пока наконец было дано разрешение лететь ему одному. Я тогда сказала Ивашко: «В таком случае попросите, чтобы с вами был врач». «Они не разрешили брать никого»,— ответил он. Да, двадцатого Ивашко хотел вылететь. Но разрешение получил лишь на следующий день и умчался на аэродром. Никто из членов политбюро, секретарей ЦК, в том числе и я, не знали, какой сюрприз ждет его во Внуково: попутчиками его оказались заговорщики. Это была просто трагедия, катастрофа для партии, что заместитель генсека оказался в этой компании. Результат вы знаете — Михаил Сергеевич не принял никого. Это уже потом Дзасохов стал дозваниваться Горбачеву в Крым, и когда дали связь, попытался объяснить, что Ивашко не заговорщик. Только после этого Михаил Сергеевич согласился встретиться с Ивашко и выслушать его. И родилось наконец решение секретариата... Поздно! Поздно!..

Этот новый текст мы сочиняли лихорадочно. «Давайте сделаем Письмо Партии,— предложила я.— Объясним свое молчание. Попробуем доказать, что в условиях многомесячного раскола внутри КПСС, уже давно состоящей из организаций разного направления, выработать единое решение невозможно... Что мы, секретариат, сделали все, что могли, чтобы удержать партию от переворота изнутри...» «Хорошо,— сказали,— пишите!» Мы взялись за это дело с Калашниковым, молодым доктором наук, новым секретарем ЦК. Он подготовил свой вариант текста, а я свой, который отдала Дзасохову. Это было уже утром 21 августа. Увы, наш текст так никем и не был востребован. Логика моих коллег по политбюро, видимо, была такой: для чего принимать какие-то обращения, раз и так ясно, что генсек жив-здоров? Вот, дескать, соберем пленум, все там и расскажем — и о позиции ЦК, и о молчании.

— Простите, но был ли в самом деле смысл в том, чтобы принимать какие-то решения, обращения от КПСС? В любом случае — победы диктатуры или ареста заговорщиков и начала демократической революции? Возьми верх путчисты, КПСС снова бы стала иезуитским инструментом оболванивания людей, насилия и террора. С другой стороны, после неудачи с переворотом настроения общества против вашей партии удесятерились...

— Наверняка «восьмерка», утвердившись у власти, в первую очередь устранила бы из ЦК КПСС тех людей, которые мешали бы ей проводить свою политику. Но важнее другое: нам было необходимо дать знак стране, что мы не сломлены, что не поддались на посулы ГКЧП, что мы, ЦК, держимся...

Помню, как двадцатого, когда прилетела из Алма-Аты и когда, собственно, для себя самой выбор уже сделала, ехала в лифте с одним славным парнем из охраны. Спрашиваю: если получите соответствующий приказ, будете меня арестовывать или защищать? Он засмеялся, видимо, попросту не верил в серьезность происходящего. Ответил: «Если будут арестовывать, то всех вместе».

— Вряд ли кто этому теперь поверит... И все-таки, если с коллективным призывом не вышло, почему лично вы не попытались связаться с «Белым домом» России, почему этого не сделали другие нормально мыслящие руководители КПСС?

— Я звонить Ельцину не пробовала. Это факт. Но знаю, что Купцов делал такие попытки. То ли он с Борисом Николаевичем говорил, то ли с кем-то еще... Такая связь была. Но о чем шла речь, к сожалению, не знаю. Так сложилось по традиции: о многих шагах, которые предпринимались РКП, нас, членов политбюро ЦК КПСС, просто не ставили в известность. Лишь с приходом Купцова нам стала понятнее позиция РКП. Известно, что незадолго до переворота Купцов встречался с Ельциным, и Борис Николаевич будто бы при этом заметил: «А вот Полозков за целый год так ни разу и не попытался встретиться со мной».

— 19 августа все вели себя по-разному. Например, довелось видеть сразу после пресс-конференции Бориса Ельцина, как уже к 11—12 часам дня сотни людей стекаются к парламенту России с флагами, транспарантами против хунты. Пытались ли вы заявить свою позицию не только как член политбюро, но как народный депутат СССР?

— Свою позицию я высказала коллегам по ЦК, редакции «Крестьянки», где еще недавно была главным редактором и где состояла на учете в парторганизации. Но вообще-то находилась в шоке и полной растерянности от происходящего. Попытки анализа ни к чему не приводили. Сейчас уже можно задуматься, почему... Опыта общения с демократическими силами у меня не было. И, как ни странно, я была оторвана от практической политики из-за груды других дел, которыми занималась,— проблемами женского движения. А тут еще цековская привычка все согласовывать, вырабатывать общую позицию... Словом, в прямой эфир я не решилась выйти, хотя такая возможность была. Единственное, что я сделала в этом направлении: 20 августа написала заявление о выходе из руководства партии.

— О таком демарше просто не могли не узнать в вашем доме на Старой площади...

— Это был как бы мой личный протест. Мы поговорили один на один с Дзасоховым и решились... Разумеется, в ЦК об этом узнали...

— Для журналистов, которые знают вас давно, вообще казалось странным, почему вы согласились стать членом политбюро, да еще на самом закате КПСС. Ваш поступок был внешне алогичен, особенно если учесть, что вы возглавляли популярный женский журнал и дела шли неплохо...

— Для меня тоже избрание членом ЦК, а затем секретарем и членом политбюро было полной неожиданностью. Я даже не являлась делегатом XXVIII съезда КПСС, сидела в ложе прессы. Вдруг подходит человек и говорит: «С вами хочет встретиться Михаил Сергеевич». Захожу к нему в кабинет. «Галя,— сказал Горбачев,— я хочу предложить тебя в состав политбюро. Прошу согласиться».

«Но, Михаил Сергеевич,— возразила я,— мне никогда не приходилось этим заниматься». Это было совершенно искренне. До тех пор я только постоянно страдала от ЦК. Сколько было анонимок, и тот же партаппарат терроризировал меня. В общем, Горбачев настаивал, сказал, что мне предстоит в ЦК заняться женским движением. Я попросила его подумать. Но наутро моя кандидатура была выдвинута. Конечно, можно было еще взять самоотвод. Могла... Но это была мука. Я верила Горбачеву. И верю. И действительно, надеялась, что удастся сделать дело. И, в общем, удалось немало. Это была не вполне партийная, аппаратная работа. Это была реальная помощь женщинам в борьбе за их права, афганским матерям и вдовам, тем, кто потерял сыновей-солдат, служивших в армии...

— Вы ни разу не пытались заставить ЦК КПСС направить хотя бы небольшую долю партийных миллиардов, в том числе в твердой валюте, на помощь несчастным женщинам?

— Иногда... Было несколько региональных объединений многодетных матерей, которые остро нуждались в помощи. Созванивалась с Кручиной, управделами ЦК, иногда добивалась успеха... Кстати, вы не слышали, отчего он покончил с собой?

— Признаться, этот вопрос я хотел задать вам.

— Ничего не могу сказать. Говорят, у него был страх перед допросами, которых все равно рано или поздно не удалось бы избежать. Для меня это непонятный поступок. Он даже не был в списках тех, с кем собирались побеседовать... И не подписывал никаких заявлений с путчистами.

— Кстати, о путчистах. Любые ваши впечатления об этих людях, если вам с ними доводилось встречаться, были бы интересны читателям «Огонька». Вот, например, когда Янаева выдвинули вице-президентом, вы голосовали «за» или «против»?

— Разумеется, «за». Ведь Горбачев дважды защищал его кандидатуру. Я очень верила Президенту.

Пытаюсь снова мысленно представить себе моменты, когда оказывалась вместе с ними где-нибудь в кулуарах Верховного Совета, и свои ощущения. Со мной были приветливы, чуть снисходительны. А у меня все время какая-то скованность... Да просто дико мне слышать, что «КГБ и армия были верными солдатами партии». Наоборот, партия оказалась их заложницей в дни переворота. Все эти грозные структуры, которые раньше утверждались и зависели от старого ЦК, попытались в критический момент и на этом участке взять реванш, подчинить себе партию. В чем-то им это удалось. У них же остались для этого средства: контроль над связью, средствами передвижения, усиленная охрана ЦК.

— Очень любопытно было бы узнать, что говорили они, когда устроили кровавые ночи в Вильнюсе, Риге...

— Я вам могу сказать, как я лично отнеслась к этим событиям. Совершенно однозначно: в те дни я была за границей и в интервью журналистам не раз заявляла о недопустимости противоправных действий десантников, ОМОНа. Уже в то время, между прочим, я сильно тяготилась своей партийной работой. Дважды просила Горбачева, чтобы отпустил меня,— после апрельского и июльского пленумов ЦК. Не получилось... Но у меня тогда еще оставались какие-то иллюзии по отношению к КПСС. И надежды на реформацию в связи с новой программой. Теперь они рухнули.

— Теперь-то понятно... Но все же связываешь и никак не можешь увязать августовские события в логическую цепочку. Все заговорщики — члены ЦК КПСС. Та версия, что они пошли на заговор, чтоб удержаться у власти, что им, мол, светила разве что пенсия после подписания Союзного договора, сейчас мало кого устроит. В конце концов и в случае создания Союза они не были бы забыты Горбачевым. А когда заговор провалился, все вдруг стали удивляться, откуда взялись такие выродки в нашем славном руководстве, будто они с луны свалились. Думается, совсем не с луны, а со Старой площади, с Лубянки. ЦК же КПСС, не дав вовремя никакой оценки перевороту, дал ясно понять стране, что у путчистов был шанс победить. Что же получается, партаппарату отказал истинкт самосохранения?

— Я не могу за всех ручаться. Мои попытки спасти положение были искренними. А теперь разоблачения идут каждый день, как в 37-м. Возможно, нам еще предстоит узнать нечто такое, чего мы не знаем вовсе. Но как у живого свидетеля и участника этих дней, проведенных в здании ЦК КПСС, у меня сложилось впечатление, что на открытое одобрение хунты из секретарей ЦК, с кем говорила я в те дни, не пошел бы никто. Удержала бы совесть.

Ну и, конечно, убежденность, что реформы — с ними ли, без них — все равно должны произойти. Но, похоже, теперь рассуждать об этом поздновато...

— ...особенно после того, как опечатано здание на Старой площади, другие «дома» коммунистической партии...

— Да, компартия потерпела катастрофу... Я, признаться, не верила, что ЦК КПСС закроют. 23 августа пришла на работу, а под окнами уже бушует демонстрация, стоят пикеты... Разбили окно у парадной двери, вывески. С утра официально объявили, что с 15 часов будут отключены все телефоны. И в назначенное время по внутреннему радио раздался голос: «Просим покинуть здание в течение часа, иначе люди будут интернированы». Тут же позвонил Дзасохов: «Зайди». Я зашла. У него собрались секретари ЦК. Спрашивают друг друга: «Что будем делать?» «Как — что делать? — удивилась я.— Если законная власть вынесла такое решение, нужно подчиниться, а потом обсуждать, законно это или незаконно». Стали выходить. Я шла вместе с помощником и секретарем (отдел у нас был небольшой, всего несколько человек, не то что в РКП). Вокруг крик, свист, вой. В общем, революция. В адрес Купцова восклицали: «Бей его!» У одной моей сотрудницы вырвали сумку и стали рыться в ней, ища, очевидно, секретные документы. Все было как-то уж очень по-хамски. В ЦК теперь допускают только технических работников. А для тех, кто хочет пройти, забрать личные вещи, составляют списки. Мои коллеги два часа простояли в очереди для записи.

— Те, кто знал вас, считали вас человеком удачной карьеры. Очевидно, это спорное утверждение. Но когда вы попали в политбюро, страна уже очень изменилась. Умели ли вы увидеть, как высший партийный руководитель, что люди, которых КПСС дурачила семьдесят с лишним лет, стали совсем другими? Повлияло ли это на ваши идейные убеждения или вы по-прежнему считаете себя коммунистом, а коммунизм — высшим благом для человечества?

— Не стоило бы общаться на уровне догм... Я искренне верила, что провозглашение Горбачевым, как генсеком, приоритета общечеловеческих ценностей даст возможность провести кардинальные реформы, в том числе и в КПСС. Но борьба консервативных и реформаторских сил в партии, увы, не увенчалась победой демократических сил. Что могла, то и делала на своем посту для людей, для женщин. Я, признаться, отнюдь не партаппаратчик по духу и убеждению, скорее организатор. И наш маленький отдел сделал много.

Партию же нельзя отменить или закрыть, если найдутся еще люди, желающие сохранить ее жизнеспособность. И дело самой партии решать свою судьбу.

Можно сказать, что окончательный крах иллюзий наступил в дни переворота. Но разочарования были и раньше.

Вместо практической работы, конкретных акций, просвещения людей и подготовки их к реформам мы вели долгие обсуждения и принимали длинные решения по хозяйственным, общеполитическим вопросам. Да нужны ли они были КПСС в условиях реальной многопартийности? Позиция — да. Но решения? Мне казалось — нужны. Самообман!

Вся предыдущая жизнь приучила меня к личной ответственности. Здесь же сама обстановка не требовала ее. Согласование. Коллегиальность. Не это ли и подвело каждого из нас в критический момент?

Что же касается человеческих приоритетов, то сейчас уже вижу, насколько наивными были мои постоянные призывы заниматься прежде всего правами человека. В итоге все свелось к тому, что на нашу женскую комиссию с аппаратом из семи человек «повесили» всю почту о людских бедах. И мы занимались этим, кроме всего прочего, и думали уж никак не о том, чтобы всех, кто обращался к нам за помощью, втянуть в «коммунистическую идеологию», а о том, чтобы действительно помочь. И беспартийным в том числе, и общественным женским организациям.

Вот и думаю теперь, кем же были я, наша комиссия в этом холодном мужском доме. Средством видимого «очеловечения»?

Ну, а что же сейчас? Активно работает комитет по инвентаризации и передаче собственности и имущества КПСС. Кому? Почему так спешно? Конституционно ли все это?

А о людях кто позаботится? Как трудоустроить тех, кого выбросили на улицу? Как вернуть достоинство тем, кто жил честно, кто имеет свои убеждения, но не причастен к заговору? Думаю, что если уж забирать собственность у КПСС, то всю компенсацию за нее надо вернуть людям...

P. S. 26 августа Г. В. Семенова передала заявление информационному независимому агентству «INTERFAX», где, в частности, говорится следующее: «Пережив незабываемые трагические дни переворота и связанные с ним оглушительные разоблачения, я решительно, как это ни горько, расстаюсь с иллюзиями о роли и деятельности партийного руководства... Прошу членов ЦК КПСС принять мою отставку с должности члена политбюро и секретаря ЦК КПСС».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Денежная единица Монголии. 4. Русский скульптор, автор памятника Минину и Пожарскому. 7. Большое усердие, сильное стремление к выполнению. 10. Предел колебания, амплитуда. 11. Химический или фармацевтический продукт. 12. Окунеобразная промысловая рыба. 14. Пространная реплика. 15. Сельскохозяйственное предприятие, частное хозяйство. 16. Русский живописец XIX века. 17. Город в Смоленской области. 18. Травянистое декоративное растение семейства лютиковых. 19. Чертеж, выполненный при глазомерной съемке. 20. Модель, предварительный образец. 23. Основная единица веса. 24. Периодическое печатное издание. 25. Рассказ А. И. Куприна. 29. Специалист, изучающий родственные связи и происхождение слов. 30. Физик-теоретик, академик, Герой Социалистического Труда. 31. Верхняя часть пестика цветка. 32. Вспомогательная шкала измерительного прибора. 33. Река на Северном Кавказе.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сосуд для хранения содержимого при постоянной температуре. 2. Песня на слова М. А. Светлова. 3. Устройство для предохранения горных выработок от обвала. 4. Опера немецкого композитора Ф. Флотова. 5. Город в Финляндии. 6. Река, одна из составляющих Северную Двину. 8. Ликвидация на основании международного договора военных укреплений и сооружений. 9. Организатор выгодного дела. 13. Горная система в Центральной Азии. 15. Основание здания, сооружения. 21. Эфиро масличное, пряное растение. 22. Крепежная деталь, стержень с резьбой на обоих концах. 23. Действующее лицо оперы П. И. Чайковского «Пиковая дама». 26. Пояс из кожи. 27. Участница антивоенного и негритянского движения. 28. Опера С. С. Прокофьева.





Ночью в темном переулке встречаются двое.
— Гражданин, вы не видели поблизости милиционера?
— Нет, не видел.
— Тогда снимай пальто.

Гномик в аптеке:
— Дайте мне, пожалуйста, пирамидон.
— Вам завернуть?
— Нет, я так покачу.

На границе часовой:
— Стой, кто идет?
— Ша, никто никуда уже не идет!

Муж приходит вечером домой. У него выбит глаз и рука в гипсе. Жена в ужасе:
— Вася, что с тобой?
— Да я сегодня в пивной с одним мужиком на глаз поспорил, что он мне руку не сломает.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, НАПЕЧАТАННЫЙ В № 35

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Палаван. 6. Буслаев. 8. Ромб. 9. «Амок». 10. Сибелиус. 12. Маневр. 13. Киянка. 14. Льеж. 16. Антарктика. 19. Дека. 20. Эдисон. 22. Эхолот. 24. Ватрушка. 25. Агат. 26. Аким. 27. Авиация. 28. Хатанга.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Альманах. 2. Ранжир. 3. Фундук. 4. Тасмания. 5. Паром. 7. Векша. 10. Свешников. 11. Синекдоха. 14. Лиард. 15. Жатка. 17. «Бригадир». 18. Фальконе. 20. Элара. 21. Нарвик. 22. Экипаж. 23. Тумба.

«КРОСНА» — это единственное предприятие, специально серийно производящее приемные установки спутникового телевидения для различных регионов страны, находящихся в зоне неуверенного приема зарубежных ТВ спутников;
«КРОСНА» — это в отличие от всех зарубежных аналогичных систем самое высокочувствительное устройство;
«КРОСНА» — это монтаж и сервисное обслуживание оборудования специалистами предприятия-изготовителя;
«КРОСНА» — это уникальная возможность принимать у себя дома телепрограммы всего мира;
— совместимость с любыми телевизорами и видеомагнитофонами зарубежного и отечественного производства, работающими в стандартах PAI;
— возможность индивидуального использования, а также коллективное подключение к действующей телевизионной сети;
— качество программ, не уступающее сетевому телевидению.

«КРОСНА» — это:
— круглосуточные новости мира за последние часы, конъюнктура спроса и предложения, уровень мировых цен, реклама новой продукции;
— научно-популярные программы на европейских языках, позволяющие расширить кругозор и приобрести навыки разговорной речи;
— развлекательные программы, зарубежные спортивные передачи, в том числе по таким видам спорта, которые не культивируются в нашей стране;
— круглосуточные современные видеоклипы лучших певцов мира, художественные фильмы, которые вы можете транслировать по кабельной сети.

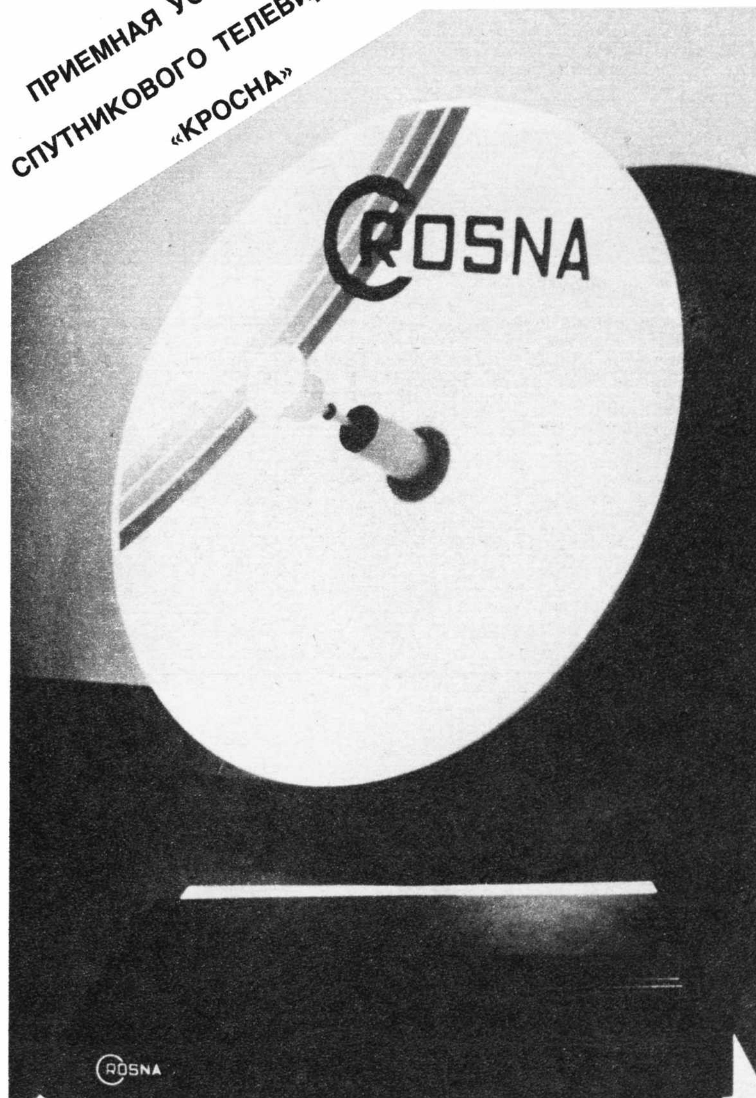
Приемные установки спутникового телевидения «Кросна» выпускаются в трех модификациях с размерами зеркала 0,9; 1,5; 2,0 м.

В зависимости от модификации и комплектности стоимость приемной установки спутникового телевидения «Кросна» от 20 до 50 тыс. руб.

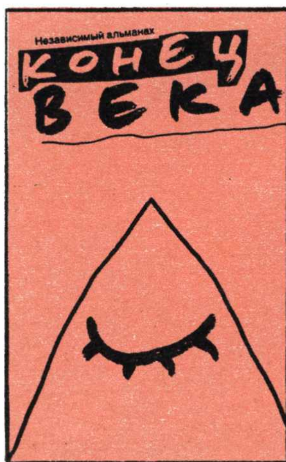
Оптовым покупателям предоставляется скидка.

Приобрести приемную установку спутникового телевидения можно, обратившись по адресу: 123557, г. Москва, Пресненский вал, 27, НПК «Кросна».

Телефоны для справок: 253-86-83, 253-19-53; телетайп 113768 «Ярило»; факс 253-39-30.



НЕЗАВИСИМЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ «КОНЕЦ ВЕКА» ОБЪЯВЛЯЕТ ПОДПИСКУ НА ПЕРВЫЕ ШЕСТЬ ВЫПУСКОВ!







Используйте шанс собрать домашнюю библиотечку современной советской и зарубежной литературы! Мы публикуем лучшие произведения русского зарубежья, открываем новые талантливые имена, невзирая на собственные политические пристрастия и взгляды.

Три книжки альманаха уже отпечатаны и ждут своих читателей.

На страницах «Конца века» вы прочтете американский роман В. Аксенова «В поисках грустного беби» и сатирическую прозу В. Коклюшкина о русских террористах начала века, повести москвича В. Корнилова «Без рук, без ног» и парижанки Н. Медведевой «Мама, я жулика люблю!», записные книжки Венедикта Ерофеева и мемуары племянницы Сталина К. Аллилуевой. Публикуем повести В. Маканина и рассказы Э. Лимонова, антиутопию А. Гладилина «Французская ССР» и «Антисоветский Советский Союз» В. Войновича, произведения А. Зиновьева, В. Шаламова, неизвестные стихи Ю. Домбровского, рассказы В. Пьецуха и переводы Генри Слизара, Джека Шарки, Франца Кафки. В «Конце века» вы прочтете «Аквариум» В. Суворова о тайнах советской разведки и многое другое!

К сведению тех, кто уже подписался на альманах! В течение сентября вам доставят все 3 тома «Конца века»! Условия подписки на книжные приложения нашего издания, среди которых «Это я — Эдичка!» Э. Лимонова, «Москва — ОГПУ — Париж» Л. Млечина, «Рабинович и Иванов, или Ай гоу ту Хайфа!» В. Кунина, книги А. Гладилина, В. Аксенова, В. Маканина, в номере 3 «Конца века»!

Цена подписки на альманах — 55 рублей (стоимость номеров и почтовых расходов по доставке). Наш расчетный счет 609871 МФО 201638 в коммерческом банке «Бизнес» Дзержинского района г. Москвы. Копию телеграфного или почтового перевода вместе с вашим адресом отошлите в редакцию: 103055, г. Москва, К-55, аб. ящик 95.

Телефон для справок: 369-24-41.



ДАЙТЕ НАМ ШАНС СЭКОНОМИТЬ ВАШИ ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ!

ОБЪЕДИНЕНИЕ «МММ» ПРЕДЛАГАЕТ:

КОМПЬЮТЕРЫ, СОВМЕСТИМЫЕ с IBM PC/AT, XT С ЛЮБОЙ ПЕРИФЕРИЕЙ И ОРГТЕХНИКУ. А ТАКЖЕ ШИРОКИЙ ВЫБОР ДИГИТАЙЗЕРОВ, ПИШУЩИХ МАШИНОК, ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК, КАЛЬКУЛЯТОРОВ И Т. Д.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ.

ОПТОВЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СКИДКА.

ВЫ ВИДЕЛИ ГДЕ-НИБУДЬ БОЛЕЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ? МЫ ПРОДАДИМ ЕЩЕ ДЕШЕВЛЕ!

КОМПЬЮТЕРЫ

IBM PC/AT-286 — 44 000 руб.
IBM PC/AT-386
(Винчестер 120 МБ.
ОЗУ 4МБ. 25 МГц) — 107 000 руб.

ПЛОТТЕРЫ

(графопостроители)
Формат А3 — 31 500—33 000 руб.
Формат А1 — 107 000 руб.

ЛАЗЕРНЫЕ ПРИНТЕРЫ

Формат А4
«LASERJET II P» — 51 000 руб.
«LASERJET III» — 85 000 руб.

КСЕРОКСЫ

Формат А4
«SHARP Z-50» — 28 000 руб.
«CANON FC-2» — 30 500 руб.
Формат А3
«RICOH M 100» — 62 000 руб.
«CANON 1215» — 80 000 руб.

ТЕЛЕФАКСЫ

«MURATE-M5»
и *«FI»* — по 21 500 руб.

АВТООТВЕТЧИКИ

«PANASONIC» — 7750—8000 руб.

ТЕЛЕФОНЫ

«PANASONIC» — 3400 руб.

Адрес: 109518, Москва,
ул. Газгольдерная, 10
(проезд: метро «Текстильщики»,
автобусы 29, 725
до остановки
«Вычислительный центр»).
Телефоны в Москве: 171-03-97,
173-44-15, 171-13-81, 171-06-90.



У «МММ» НЕТ ПРОБЛЕМ!

АГЕНТСТВО СТОЛИЧНЫХ СООБЩЕНИЙ тел. 450-67-88, 412-95-06.

1 руб. Индекс 70663